
«ВСЕ ВПЕРЕДИ» ВАС. БЕЛОВА

Дмитрий Урнов

О БЛИЗКОМ И ДАЛЕКОМ

...Все, что в душе и в
судьбе наболело,—
Привычное дело,
привычное дело...

*Анатолий Пердреев.
«Баня Белова» (1985)*

Читая последний роман Василия Белова «Все впереди», я вспоминал эпизод уже более чем тридцатилетней давности. То был первый, после длительного перерыва, показ кинофильма Александра Довженко «Земля». И вот перед сеансом выходит на авансцену человек и, обращаясь в зал, говорит: «Я должен вас предупредить». Мы все насторожились. «В этом фильме,— продолжал предупредительный человек,— вы увидите...» Говоривший замялся, а мы насторожились еще больше. Наконец он выговорил: «...обнаженную... женщину» (так он выговорил).

Смешно? Грустно? Однако реакция в зале была неоднозначной. Кто-то, разумеется, возмутился: «За кого вы нас принимаете?» Кто-то считал, что поставить нас в известность о грозившей нам опасности, конечно, следовало: «Но потактичнее!» А кто-то, судя по всему, подумывал, не дать ли отсюда деру, пока чего-нибудь не вышло... Одним словом, человек появился не зря: пре-

дупредить нас надо было! И кто теперь лишь посмеется над ситуацией, тот либо себя самого забыл, либо вовсе, по молодости лет, не знает, какими мы были более трех десятилетий тому назад.

«Все впереди» — это, мне кажется, именно такого рода предупреждение. Очередное предупреждение, необходимое по условиям нашего развития, отмечающее этап развития. И касается оно в первую очередь людей того же типа, что в самом романе изображены. А таких людей, судя по роману Василия Белова (да и по опыту), приходится предупреждать буквально обо всем: и о том, что они могут ненароком увидеть обнаженную женскую плоть, и о том, что могут стать жертвами международного сионизма.

Это люди — недавние, с короткой памятью прежде всего по отношению к себе, хотя груз прошлого, казалось бы, давит им на мозги. Груз давит, но ничего не выжимает, не изменяет у них мыслительной механики, которая как была, так и остается одноплановой, однодневной: сегодня они уже не верят тому, во что верили вчера, но *как* произошла перемена и, главное, чего стоили их прежние убеждения (а стало быть, и нынешние), — этим вопросом они не задаются. Вот Василий Белов, видимо, и решил: пусть на себя посмотрят и хоть немного одумаются.

Мне возражат: «Хитришь! Разве Василий Белов не разделяет убеждений своих персонажей и не думает точно так же, как и они?» Что автор «Все впереди» иногда неотделим, неотличим от героев романа, с этим нельзя не согласиться, и от подобной проблемы я, поверьте, не уклонюсь. Но та же проблема касается сейчас в нашей литературе не только Василия Белова, поэтому обратимся к ней чуть позже. А пока будем читать, что сказано или, точнее, что сказывается в романе «Все впереди».

Например, один из персонажей романа между прочим сообщает, что утратил уважение к покойному президенту Кеннеди. А за что, спрашивается, он прежде его уважал?

Этот повествовательный эпизод вызвал у меня еще одно воспоминание — двадцатипятилетней давности. Как раз в тот момент, когда погиб Джон Кеннеди, у нас в Институте мировой литературы находилась Маргарита Чедер-Гаррис, литературный секретарь Драйзера. «Что это вы совсем не переживаете за своего президен-

та?» — я у нее спросил, видя, как сухи ее глаза. Человек, связанный с Драйзером, уж конечно, не мог быть бессердечным, так почему же «старуха Гаррис» (как мы между собой ее называли) спокойна, когда иные из нас чуть не плачут? Ответ был таков: «Он больше всего любил парады подводных лодок, а нам, людям с известным историческим опытом, это совсем не нравилось». Здесь не место вдаваться в оценку деятельности погибшего американского президента, да ведь и тогда не вдавались, если иметь в виду не специалистов политики, а просто переживали — и все. Случайно оказавшись на пересечении «точек зрения» (выражаясь терминами повествовательной поэтики), я тогда отчетливо почувствовал и запомнил эту разницу: кто реагирует осознанно, а кто лишь, выражаясь языком беловского персонажа, «уважает» — собственно, неизвестно за что, ибо факты, способные в самом деле заставить уважать президента (как и не уважать), стали нам доступны гораздо позднее.

Что факты! Подчас и с фактами в руках до собеседника, и тем более до оппонента, словно путник запоздалый, не достучишься: не слышит, не видит, не воспринимает, хоть криком ему кричи, хоть сноски на источники делай. В порядке психологического эксперимента то же мнение «старухи Гаррис» я стал проверять на своих сверстниках и убедился в том, что знал из книг, из учебников, — что Маркс называет слепотой суждения: факты — фактами, а убеждения («уважение») убеждениями. Никакие факты не доходят до сознания, если уж человек, вроде изображенного Василием Беловым персонажа, настроился «уважать».

Другой беловский персонаж рассуждает о религии, однако на вопрос о том, «давно ли он начал думать о боге», не отвечает ничего. Он лишь «спокойно поглядел» на тех, кто спросил его об этом, и продолжал говорить свое. Что же кроется за подобным спокойствием? Чего оно, как и «уважение» (или «неуважение»), стоит?

Третий персонаж — молодая женщина — не вспоминает своего прошлого уже намеренно. У Эрнеста Хемингуэя имеется рассказ, озаглавленный «Какими вы не будете». Перефразируя это название, можно адресовать таким людям вопрос: «Какими же вы были?» Нет, и вспоминать не хотят. Самозабвение в данном случае прямо обозначается на страницах романа. Даже подчеркивается. В начале романа мы становимся свидете-

лями такого эпизода: эта женщина вроде бы слышит и в то же самое время не слышит рядом с собой шуточный разговор: «остроты... не достигали до сознания». Так же внимает она и своему внутреннему голосу, вполслуха, или же вовсе не слышит, или заставляет говорить то, что ей хочется услышать. Снова и снова встречаем мы в романе эту женщину, и она, оказывается, все время живет, как в детстве или во сне: до нее не доходят (ею же самой не допускаются) не только случайные разговоры и сомнительные остроты, но — решающие проблемы ее семьи и даже собственной судьбы.

И тем же персонажам свойственно, с другой стороны, высокое представление о себе. Они воспринимают самих себя исключительно всерьез, как некую исходную инстанцию, как носителей общей совести, обладателей универсального взгляда на вещи. И даже «полупьяный треп» представляется им (поскольку это их треп) «вполне осмысленным». Однако автор позволяет нам тот же треп послушать, и, внимая этой болтовне, мы убеждаемся: треп даже не полупьяный, а совершенно трезвый, но зато вполне бессмысленный. Это в том же духе «уважения», как и «неуважения», случайно усвоенного и вдруг утраченного. Неосновательный разговор — в стиле рубрики «Знаете ли вы, что?..». Вопрос: «Почему Николая Первого называют реакционером?» Ответ: «Потому что он сжег первое издание Библии». Задать бы им еще один вопрос: «Назовите известных вам и уважаемых вами деятелей, в том числе консерваторов, которые бы считали Николая I реакционером именно поэтому, за то, что покушался на Библию». Каким был бы нам ответ, последовало бы опять молчание — с продолжением трепа, словно вопрос и не был задан, — об этом гадать не будем. Вне текста додумывать не полагается, но и по тексту видно: нам представлены люди, у которых мысль дальше известного предела не продвигается. Высказывая решительные утверждения, эти люди не задумываются о том, надежны ли их тезисы, не опровергаются ли те же тезисы одним махом.

С этой точки зрения они наблюдают за другими, только не за собой. «Она вся на таком уровне», — один персонаж говорит о другом персонаже, еще одной молодой женщине, пошловатой бабенке. Определение, насколько дано судить читателю, объективное. А сам судья на каком уровне находится? Ведь это для него Кеннеди являлся до поры до времени «единственным

президентом», которого он «хоть сколько-то уважал». Мы уже спрашивали: за что? Вот пожилая американка, когда я спросил у нее, почему она не плачет по убиенном, сразу ответила, а что ответил бы человек такого типа, послуживший моделью для беловского персонажа? Может быть, за то, что в момент так называемого Карибского кризиса американский президент старался внушить главе нашего правительства, что американцев с нами равнять не следует и если мы способны выдерживать чужие ракеты у себя под боком, то для американцев это беспокойство чрезмерное? Но ведь и такие факты не были у нас широко известны, когда подобные персонажи «хоть сколько-то уважали» покойного президента, как не была тем же персонажам известна его речь в Американском университете (под Вашингтоном), за которую его действительно следовало уважать и за которую, как считают эксперты, его, возможно, и «убрали» три месяца спустя (Кеннеди заговорил о реалистическом мышлении в политике) ¹.

И тот же самый персонаж, изображенный Василием Беловым, совершенно «серьезно считал, что у современных детей рационалисты похитили детство». Почему же именно рационалисты? И кто такие эти «рационалисты»? Может быть, из тех, кто учит малышей «развивать верхние фаланги пальцев для приобретения навыков в письме»? Фразу о фалангах я слышал собственными ушами, придя за сыном в детский сад, но то был, по-моему, не рационализм, а... Однако беловский герой последователен: как оделяет он политических деятелей своим уважением, так же он считает, будто избыток рационализма (а не дефицит разума) является распространенным бедствием.

В романе выстраивается наглядная шкала душевных движений таких людей:

— если персонаж испытывает чувство родственности, то это «бесконечно дорогие для него люди»;

— если он же ощущает горечь, то ему «бесконечно горько»;

— если ему что-то близко и дорого, то это для него «самое близкое и самое дорогое»;

Останавливаясь на этом с такой подробностью, в частности, потому, что данный момент из романа «Все впереди» уже приходилось обсуждать и как возражение слышать ссылку на вышеназванные факты. Но, повторяю, факты не могли быть известны персонажу в то время, когда он погибшего президента «уважал».

— а уж если он не ревнует, то «давно свободен от всякой ревности».

Однако, при субъективно ощущаемой беспредельности, мир этого человека, насколько автор позволяет нам судить, вполне обозрим и конечен. Так, он объясняется с женой, и между ними происходит «что-то совершенно новое», и «никогда так бездумно» и «никогда так резко» (на взгляд мужа) не вела себя его жена. А сам он, и уже не впервые, испытывает «чувство, похожее на чувство безбилетного пассажира». Какой выразительный прыжок из вечности и бесконечности, от «совершенно» и «никогда» — к сумме порядка пяти копеек!

Дело, понятно, не в пяти копейках, и кому не случилось ездить без билета? Но одно из двух, — и это каждый знает по себе, — либо мы не успели или забыли взять билет и, если нам все-таки встретился контролер, тогда с известным сожалением, но с достоинством платим штраф; либо же мы вознамерились как-нибудь проскочить «зайцем» и того же контролера ожидаем, замирая от страха и стыда, если таковой у нас еще имеется. Какое же из «безбилетных» чувств испытывает персонаж: как это он допустил оплошность? Или — как бы не попасться? Коротче говоря, кто по натуре перед нами: рассеянный или проходимец?

Одна из причин, по которой беловские персонажи не додумывают своих же мыслей до конца, мне кажется, автором выявлена: все эти чувства, включая чувство безбилетника, несмотря на их подчеркиваемую «бесконечность», на самом деле испытываются, как я уже сказал, недавно — недавними горожанами, из приезжих. Прямых указаний на предысторию появления персонажей в городе я по тексту романа не заметил и сужу об этом по претензиям, которые с их стороны предъявляются городу — конкретно Москве. Некоторые из тех же персонажей, возможно, и родились в городе, но психология у них — устроившихся в городе, как на перевалочном пункте, и, соответственно, ропщущих, ибо город, и к тому же огромный город, не во всем их устраивает.

Ропщут и коренные горожане, но — иначе. Скажем, кому из москвичей, поскольку дело происходит в Москве, придет в голову, будто здесь должно пахнуть арбузом, как того хотелось бы одному из персонажей романа? Чем пахло в Москве когда-либо (на памяти нынешних поколений), кроме асфальта и бензина? Положим

до войны в Замоскворечье стоял запах дров и дыма: там еще не было центрального отопления, но то и было Замоскворечье, полудеревня, и каждый троллейбус, не говоря уже о трамвае, там проходил с гулом, а в центре тот же троллейбус и слышен не был, сливаясь с ровным, как для иных ушей морской прибой, шумом большого города. Ныне той разницы нет, и везде, как положено, асфальт, один асфальт. Допустим, разный асфальт и пахнет по-разному, но все же асфальт — не арбуз. За ароматом арбуза надо ехать в другие края! Да и кто из «детей асфальта» знает запах арбуза? Я имею в виду знание не заемное, а заведомое, из поколения в поколение накапливаемое и воспитываемое, как и те чувства, что выражены в старинном стихотворении «Вот моя деревня, вот мой дом родной...».

Сам Василий Белов прекрасно понимает подобные чувства, он с такими чувствами, можно сказать, вошел в литературу, он воспел привязанность к почве, а уж чем покрыта почва, дерном или асфальтом, это в принципе не важно — важно, чтобы она была своя, и тогда, при соприкосновении с почвой, что-то встрепенется в нас — невольно, как дыхание. Однако персонажи, выведенные на этот раз Василием Беловым, подобных привязанностей, как видно, не имеют, не знают, вот им и хочется чего-то несусветного — арбуза в городе. Поэтому я и думаю, что это приезжие. В самом деле, у кого из москвичей может жить в душе тоска по ароматам совсем других мест?

Итак, персонажи романа «Все впереди» вроде бы обжили город и все-таки чувствуют себя в нем чужаками. Облегчение они испытывают, лишь вырвавшись из города. Не то нормальное и для горожанина облегчение, когда он выезжает за город и, в порядке вещей, чувствует себя свежее. Нет, эти люди, покидая город, испытывают облегчение принципиальное, символическое, духовное: словно очищаются от скверны, будто прах с ног своих отряхают...

Сложность положения этих персонажей усугубляется тем, что и привязанность их к природе носит всего лишь демонстративно-показной характер. Город для них «кошмар», в городе они чувствуют тошноту, прямо удушье. А природа? Умиротворение и удовольствие. Но ведь этого мало. Этого, прямо скажем, недостаточно для проверки привязанностей, как урбанистических, так и пасторальных. Мы, слава богу, живем уже двести

и даже все триста лет спустя с тех пор, как прозвучали первые призывы «Назад в пампасы!», и мы знаем, что в пампасах никогда так хорошо не было, как о том рассказывали преимущественно люди, которые сами в пампасах не жили (и даже не бывали). Не существовало утраченного рая — факт (который, правда, все никак не уложится в сознании неонеонеоруссоистов), а проходили полосы лишь временного преуспевания, так называемые «золотые века» или «старые добрые времена» для той или иной категории людей, и когда колорит эпохи играл золотыми тонами для одних, то другим все казалось черным-черно. И сама природа знает не один регресс. Например, животные, скажем лошади, — они же становятся все лучше и лучше, по крайней мере всюду, где попадают в умелые и хозяйственные руки, не говоря уже о том, что ныне, как никогда прежде, небывалое число людей ездит на лошадях исключительно для собственного удовольствия, и если кто-то изнывает в очереди на прокатный пункт, вздыхая о «былом», тот, в порядке отрезвления от ностальгических иллюзий, пусть примет во внимание: в былое время, когда с лошадьми все обстояло, кажется, просто и хорошо, ему и в очереди не нашлось бы места. А если взять другие времена и другие, суровые, проблемы, то ведь даже та устрашающая городская бедность, которую живописали, пугая читателей, консервативные, пронизательные и убедительные критики индустриального прогресса, — то ведь и она, если учесть историческую диалектику, была великим продвижением вперед: обездоленными и оборванными вышли на арену истории люди, находившиеся до этого вовсе за чертой; в городские трущобы они попали, повылазив из таких земляных нор, на которые взглянуть было страшно, если смотреть непредвзято и без иллюзий.

Кстати, имел я возможность увидеть интервью Василия Белова, данное им западногерманскому телевидению, — прямо там, в Кёльне, и увидел. Поразительное, скажу я вам, переживание! На голубоватом экране появилась вологодская деревня, о которой как раз перед тем читал я поэму Анатолия Передреева, цитированную в начале этой статьи. Съёмки зимние. Сугробы. Узкая между ними тропа. Валенки осторожно передвигаются по тропе... Женская фигура — с ведрами. Колонка с рычагом-насосом, обросшая, как таинственное существо, сосульками и снегом... И затем — Василий Бе-

лов, в избе, говорит: «Исчезновение деревни я вовсе не считаю прогрессивным явлением». Внутренне, про себя, я тут же ему возразил: почему «прогрессивным» или «ненрогрессивным»? Прогресс — движение, новизна — и все, а в отношении новизны, как и старины, мы теперь знаем: обретения и утраты, благо и зло. Если писатель хотел сказать, что уход прежней деревни — это не одно сплошное благо, тогда — другое дело. В нашей литературе на эту же тему — патриархальность и прогресс — есть классическая книга, образцовый ответ на данный вопрос: «Дерсу Узала» В. К. Арсеньева. Для Дерсу в городе хуже, чем в тайге: не жизнь; но кто способен жить как Дерсу? Писатель-путешественник раскрыл эту проблему с исключительной достоверностью и проникновенностью, достойной и художника и ученого¹.

Так что была и есть борьба за человеческое существование, на пахоте или на асфальте, и вопрос для каждого лишь в выборе органической сферы и средств наиболее результативного приложения своих сил. Однако персонажи беловского романа выбора не осуществляют — они курсируют туда и обратно, воспринимая сельский пейзаж (который им нравится) ничуть не глубже, чем городской (который им не нравится). В отношении сельских видов на страницах «Все впереди» я заметил следующее: природа обрисована здесь так, словно один из лидеров нашей деревенской прозы в жизни не видел ни полей ржи, ни сельских кладбищ, а вычитал все из книжки, какой-то другой, не своей книжки. Вот один из персонажей, выехав за город, «миновал рожь, сориентировался на зеленую кладбищенскую стену дерев, над которой виднелись церковное

¹ Другим классиком нашей культуры и нашего искусства, посвятившим той же проблеме значительную часть своего творчества, был именно Александр Довженко. Его позиция Василию Белову, разумеется, известна, тем более что она отличается от его собственной, беловской. Как выразилась эта позиция в упомянутом фильме «Земля» (или в «Поэме о море»)? Довженко думал, что прежние межи неизбежно придется перепахать, старый жизненный уклад сохранить невозможно, однако преemptивность некоторых норм — духовных и трудовых — необходима для жизнеспособности нового. Время выявило в этой позиции опрочечивое и утопическое, но выявило и провидческое, по-прежнему актуальное, правда, признаваемое сейчас недостаточно, судя по нынешним дискуссиям, которые, касаясь давних проблем, разгораются как бы впервые. Что ж, очередной пересмотр, переоценка, совершаемая на каждом историческом этапе, надо полагать, поставит все и всех на подобающие места, и даже наше поколение, я надеюсь, еще успеет стать этому свидетелем.

пятиглавие и шпиль колокольни». А другой увидел, как «зеленоватое небо мерцало редкими, едва заметными звездочками». Как на картинке! Или на фотографии из путеводителей «Интуриста»: набор рекламных примет, как бы приглашающих: «Велком ту Рашша!» («Добро пожаловать в Россию!»). Таков, именно туристический, взгляд на загородную жизнь персонажей романа, тоскующих в городе.

Однако пора обратиться к вопросу, от которого я поначалу как бы уклонился: соотношение авторского взгляда с точкой зрения персонажей. В свою очередь, я уже признал: тождество есть — и касается это не одного Василия Белова как автора наиболее актуальных произведений последнего времени.

Что значит тождество? В данном случае я имею в виду не ту близость между персонажем и его создателем, которая делает действующее лицо рупором авторских идей. Связь напрямую между автором и персонажем, в конце концов, традиционна, а кроме того, как это уже давно нам известно, автор говорит с нами произведением в целом, в том числе устами всех персонажей, не только лично ему близких и даже чем-то на него похожих. Но, подчеркиваю, сейчас речь о другом. Речь идет о той управляемости по отношению к персонажу со стороны автора, которая и составляет, если угодно, секрет искусства. Уж как, насколько заметно автор, подобно Теккерееву кукольному, дергает своих «куколок» за ниточки, — вопрос мастерства, но, во всяком случае, это его персонажи, не они составляли сценарий, какая бы ни была им предоставлена видимая свобода действий. Ни встать, ни сесть, ни рта раскрыть, ни замуж выйти не способны они помимо авторской воли, хотя сама эта воля, понятно, может изменять свое первоначальное направление. Таковы границы искусства как рода деятельности: поэтому, если кто-то душит кого-то на сцене, мы кричим «Браво!», а не вызываем милицию. Если же границы искусства оказываются нарушены и, например, вдруг пролилась в бурной сцене капля реальной крови или же в картину вставили настоящий нос, тогда — одно из двух: либо мы не замечаем этого, по-прежнему принимая кровь за подкрашенную воду, а чей-то нос — за нарисованный, либо, заметив нарушение творческих порядков, кричим «Караул!» и зовем администрацию, а то и милицию: мы попадаем в пределы другой деятельности, подчиненной другим законам,

требующей другой сноровки, оцениваемой по другой шкале в сравнении со сферой творчества.

Стало быть, секрет и в то же самое время вещь очевидная: автор — творец, не персонаж и, по условиям своей деятельности, внутри подручного материала находиться не может, как невозможно скульптору ваять, забравшись в камень или в глиняную массу. Чтобы обработать материал, надо находиться рядом с ним, над ним, а впечатление «нетронутости» материала, «слитности» с материалом — это именно впечатление, которого, собственно, творец и добивается, как мастер своего дела.

Так вот, коротко говоря, многие наши писатели производят (по крайней мере на меня) впечатление ваятелей, так и не выбравшихся из глины: материал у них лепится не под руками, а сам по себе, словно не писатели — персонажи пишут. Впечатление не умело созданной иллюзии, будто все «написано им самим», персонажем, а — произвольно-неуправляемых нагроможденных из сырой словесной массы, неизвестно кем оставленных на бумаге.

Как это читать? Звать ли критику? Или милицию? Некоторые, в том числе иногда и писатели, считают, что звать (к ответу) надо редактора, что этот редактор недоработал — за автора¹. Что ж, судить о том можно, вероятно, по-разному, тем более что к услугам сторонников спонтанного словоизвержения имеется немало изощренных теорий, согласно которым пора писателей прошла: пиши кто угодно и что угодно, лишь бы нашлась возможность организовать вокруг этого управляемое мнение.

У ситуации, конкретно-творческим результатом которой оказывается нефактурность прозы и — еще конкретнее — подмена писателя персонажем, причин много.

Об одной из них, имеющей характер если не творческий, то тактический, сказал мне лет пятнадцать тому назад Дмитрий Стариков, безвременно ушедший. Мы с ним — с одной школьной и с одной университетской

¹ Литераторам, которые в самом деле так рассуждают (а они рассуждают именно так, приходилось это слышать не раз), одно можно сказать: «В таком случае не жалуйтесь, когда вас же плохо лечат, плохо учат, плохо обслуживают: вы сами входите в ту же систему некомпетентности, которая оказывается на сегодня для нас одним из наибольших бедствий» (см. об этом: «Московская правда», 31 мая 1987 года). Не жалуйтесь!

скамьи, а потому при встречах беседовали по-старому, по-приятельски. Тогда появились рассказы известного писателя, произведшие шоковое впечатление своей прозрачно-автобиографической откровенностью: будто автор принес и положил на виду у всех грудю грязного белья, в первую очередь и главным образом своего собственного. «Зачем он это сделал?» — спросил я у Старикова. Ответ: «У него не было другого выхода». Как следовало из дальнейших разъяснений, то был своего рода прием, хотя и не литературный, однако необходимый на данный момент в литературе. Действуя таким неэстетичным образом, писатель как бы хотел сказать: «Себя не пожалею, но только бы, глядя на меня, читатели поняли, что они сами за люди такие...» Указать пальцем на других автор, по словам Д. Старикова, никак не мог, иначе бы он в ответ услышал: «Да ты на себя посмотри!» Автор и решил упредить подобный упрек, прибегнув ради обличения к самообнажению.

Как объяснение (не оценка) это представляется мне вполне убедительным. И я думаю, что сейчас тоже авторы иногда стремятся не быть (в том числе и не писать) лучше персонажей по той же самой социально-психологической причине: не чувствуют они за собой морального права смотреть со стороны, с «артистической дистанции» на людей таких же, как и они сами. При отсутствии «артистической дистанции» невозможно, собственно говоря, творить, как нельзя, сидя в тесте, и пирога испечь. Нельзя-то нельзя, да ничего другого не поделаешь: нерасторжимость автора и персонажа объективна настолько, что авторы и не пытаются ее преодолеть, сознавая, видимо, безнадежность подобных попыток.

На то же самое положение литературных дел у нас имеется другой взгляд, противоположный: многое уже достигнуто, вакансии заняты, вплоть до «живых классиков», которые создали не просто подлинную — великую литературу¹. С этим не могу согласиться не только сердцем и разумом, но всем своим существом, а оно, существо мое, как и натура тех, кто утверждает противо-

¹ Еще одно, наряду со многими высказываниями в таком духе, читаю прямо сейчас, получив газету «Советская Россия» от 29 мая 1987 года. Мнение на этот раз принадлежит нашему старейшему писателю Вадиму Андреевичу Сафонову: «За прошедшие семь — десять лет создана новая, мирового значения классика».

положное, органично по-своему — воспитано на определенных представлениях о литературе, пропитано этими представлениями и, само собой, сопротивляется другим представлениям, не в силах их усвоить. Воспитано, понятно, на прошлом, на прежней классике, включая классику советской литературы, и если, например, Василию Теркину собираются ставить памятник, я это поддерживаю точно так же всем своим существом. Вот в нем, в Теркине, творческая объективизация жизненного материала осуществлена — это было очевидно с самого начала, как только данный персонаж явился на свет, и ныне подтверждается. Той же власти над материалом в современных произведениях не чувствую, а без власти над материалом, почти полной власти, которая еще называется «внутренней свободой» художника (в отличие от внешних условий творчества), до сих пор, если судить по обозримым прецедентам, времяустойчивой литературы не возникало.

Допускаю, что ошибаюсь, но ошибки возможны и с других позиций, это уж не нам судить. Главное, отчетливо высказаться и быть правильно понятым во имя продуктивной полемики.

Не завывая, по своим понятиям, достоинств произведений, появившихся за последнее время, отдаю им, мне кажется, должное как прорыву к достоверности и проблемности, совершенно необходимому стадияльно для продвижения всей литературы к страницам собственно творческим: в каждую эпоху их появляется сравнительно немного, и «работает» ради них литература сообща — никому не должно быть обидно.

В отношении романа «Все впереди», как и других вызвавших острые споры произведений, сформировалось такое мнение, будто эти произведения, при всей их остроте, написаны не так хорошо, как хотелось бы, по крайней мере они вроде бы слабее прежних произведений тех же авторов¹. Я думаю, что это aberrация, которая со временем исправится и станет виден один и тот же уровень. Разница на самом деле в том, что уже общепризнанное «Привычное дело» отличалось сильнейшим внутренним напором — больше жизненного опыта вошло в то произведение, чем в роман «Все впе-

¹ Такую точку зрения выразил едва ли не первым В. Лакшин, писавший об айтматовской «Плахе» и о беловском «Все впереди» в «Известиях».

реди». Весь жизненно-духовный багаж Василия Белова, к тому моменту накопленный, плюс унаследованная предыстория уместились в той повести, а «почва и судьба» договорили за автора. Той же внутренней энергии в беловском романе оказалось уже меньше, а средства — те же, отсюда и впечатление известной слабости. Однако Василий Белов и на этот раз сыграл истинно писательскую роль, посвятив роман проблемам, о которых ничего не было сказано. Показал он своих современников, буквально осаждаемых насущнейшими вопросами, на которые они не находят не то что готовых ответов: сами эти вопросы считаются как бы несуществующими и некорректными. С тех пор многие из подобных вопросов прямо-таки затопили нашу печать, но сами эти перемены были подготовлены произведениями типа «Все впереди»: теперь легко говорить, но когда появился роман?.. Или, еще раньше, когда был написан?..

Иронии, которую я как читатель позволил себе по отношению к персонажам Василия Белова, у него в романе нет, — это я прекрасно понимаю; автор со многими своими персонажами слит, он им безраздельно сочувствует, но ведь и я, иронизируя, в то же время сочувствую. Почему? Конечно, потому, что оцениваю их по себе: сидел в том кинозале, и меня, среди прочих, надо было предупредить перед началом демонстрации фильма «Земля»...

Диалектика знания и неведения, слепоты и прозрения такова, что «принципиально, вследствие какой-то слепоты суждения, не замечают вещей, находящихся у них под самым носом. А потом наступает время, когда начинают удивляться тому, что всюду обнаруживаются следы тех самых явлений, которых раньше не замечали»¹. И подверженными подобной слепоте оказываются «даже самые выдающиеся умы»², нам же, грешным, свойственна, видимо, слепота двойная — еще и по отношению к самой перестройке нашего сознания: покаяние без реального самоанализа (голова вроде вытяжной трубы, через которую с шумом и яростью проносятся веяния времени) — всего лишь поклонение другому богу, пишем ли мы его со строчной или с заглавной буквы. Мы плохо, односторонне помним, каки-

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 43—44.

² Там же, с. 43.

ми мы были, и вследствие этого столь же односторонне представляем себе, какими же являемся сейчас. Не только та недавность граждански осмысленного существования, которая видна в персонажах Василия Белова, оказывается нам свойственна, но еще и какая-то ненаучаемость, что видно по тем же персонажам. А они уверены в себе неизменно, каждый день, только всякий раз по-разному, иначе ориентируясь: еще вчера укрепляли свои позиции в городе, сегодня уже потянулись в поля, под сень сельского кладбища... Степень самосознания персонажей или, вернее, их самопонимания так мала, что позволяет им забывать самих себя прежних, не погашая, не уменьшая их энергичной уверенности в себе.

И, в самом деле, в середине романа говорится: «Да, опыт последних лет действительно сотворил иного Медведева, почти все понимающего и сильного, почти свободного и застрахованного от большинства социальных вирусов». «Опыт последних лет», хотя и не описывается в романе, а только обозначается, — это шесть лет тюрьмы плюс три года высылки, зато в силу каких причин выпал на долю Медведева такой «опыт», рассказано с самого начала романа достаточно подробно и обстоятельно: как руководитель лаборатории Медведев допустил преступный промах, пошел ради скорого результата на неоправданный риск, «схимичил», и в результате погиб его сотрудник, к тому же молодой и к тому же очень способный... Медведев понес наказание по закону. Мало этого, за время его невольной отлучки от него ушла жена, ушла к его же приятелю, и забрала с собой детей, двоих, девочку и мальчика. Удивительно ли, что после всех этих испытаний человек мог измениться? Да, но — как? Он стал все понимать? Но ведь Медведев и прежде понимал, и прежде считался человеком сильным, целеустремленным, благодаря этому досталась ему красавица жена, благодаря этому он преуспел по службе и встал во главе исследовательского коллектива. Где перемена? А перемены по существу никакой не произошло в Медведеве, просто тот же самый напор, с которым он прежде руководил лабораторией (где из-за него погиб человек), теперь направлен на какую-то странную, буколическую, полуотшельническую жизнь под Москвой. Медведев не стал ни умней, ни теплей, ни гибче, ни дальновидней, он просто устремился в другую сторону, и если раньше он без должной

ответственности и без надлежащих мер предосторожности проводил научные опыты, то теперь он без очереди проходит в Третьяковскую галерею.

Проступки, конечно, несоизмеримые, но принцип действий все тот же, и ведь это он, Медведев, испытывал чувство безбилетного пассажира, и он же без объявленных оснований уважал Джона Кеннеди. О себе же он так понимает, будто стал совсем иным, а он — неисправим. И такого человека просто предупредить мало, на него, как изображено в романе, приходится кричать в голос, кулаки ему показывать, иначе — не поймет. А чего же не понимает Медведев? Что его бывший друг Миша Бриш, нынешний муж его бывшей жены, собирается выехать за границу и увезти с собой его детей. Почему же этого не понимает Медведев? Да потому, что у него, кроме уверенности в себе, нет ничего — ни сильного чувства отцовства, ни понимания того, что вокруг него происходит.

Кричит и кулаками машет на него врач-нарколог Иванов, но вновь странный случай: если инженер Медведев «ощущал себя сильнее и многозначней» — по ходу времени и дела, то нарколог Иванов чувствует, как становится все содержательнее. Так думает о себе нарколог, который кричит инженеру, что у того дети, гляди, «будут уже в каком-нибудь Арканзасе». Но кроме того, в другом дружеском разговоре тот же врач-нарколог кричит вот что: «Сексологи пошли по Руси, сексологи! В Вологде, я слышал, медики открыли службу семьи. У женщин кисточкой ищут эрогенную зону...» А еще раньше тот же персонаж с дипломом врача, не будучи предупрежден вовремя, просто перепугался после того, как его «глазная сетчатка успела-таки запечатлеть толстую Натальину ляжку, волосы и кожную складку в области паха». Относительно опасности, грозящей из Арканзаса детям Медведева, наркологу Иванову можно верить вполне, но как быть с ужасами, тающимися в области паха и вообще в разных эрогенных зонах? Кто же перед нами, врач или пациент, которого необходимо своевременно поставить в известность о том, что на глаза ему может попасться... гм-гм?

Как и в композиционно-повествовательном отношении, когда автор слит с персонажем, так и психологически персонаж представляет собой одновременно и нераздельно и доктора и больного, прозревающего и еще совершенно слепого, непробудившегося. И вот эта ситу-

ация, вынесенная Василием Беловым на печатные страницы подчас точно и подконтрольно, подчас стихийно до нелепости, зачтется ему в качестве вклада в нашу литературу, как уже зачлось изображение под именем Ивана Африкановича современного Ивана Босых (из «Власти земли» Г. Успенского).

...Незадолго перед появлением «Привычного дела» мы с отцом поехали к нему на родину, в деревню, где он не был почти сорок лет. Первое же лицо, которое нам встретилось, оказался их, местный, вечный Иван Босых (или, теперь можно сказать, Иван Африканович). Как в сказке, стоял он все там же и выглядел все так же, как и целую эпоху тому назад. «Что-то давно тебя видно не было», — сказал он отцу таким тоном, будто прошел максимум месяц с тех пор, как они встречались в последний раз. И я тогда подумал: на моем месте писатель был бы обязан это запечатлеть, рассказать об этом, но кто поверит? Кто разрешит?! В самом деле, припомним: ведь и Василию Белову поверили не сразу или же стремились, исходя из лучших побуждений, истолковать суть его персонажа настолько приятно-благополучно¹, что не читавший самой повести мог подумать, будто Василий Белов действительно выдумал своего героя, а сам таких людей и не видал.

Роман «Все впереди» точно так же является выполнением писательской обязанности поведать о еще не запечатленной реальности — о мешанине в мозгах, которая оказывается и виной, и бедой таких людей, как его персонажи.

К исходу романа складывается такое положение: трое верных друзей — инженер Медведев, нарколог Иванов, а также бывший военнослужащий Зуев — чувствуют вмешательство в их судьбу некоей злой силы, а четвертый (и неверный) друг — Михаил Бриш — силу эту олицетворяет. По крайней мере именно на этом сходятся, при незначительных разногласиях, Медведев, Иванов и Зуев. Однако тут же Василий Белов дает материал и для иных наблюдений и выводов. При наличии в мире тайных сил и даже самого дьявола, которого упомянуть друзья не забывают, все-таки в романе явно и реально события разворачиваются так: Медведев по-

¹ Даже И. Золотусский, которому совсем не свойственно смотреть на жизнь и литературу сквозь розовые очки, нашел, что «Привычное дело» — повесть радостная, оптимистическая. См. в его кн.: Трепет сердца. Избр. работы. М., 1986, с. 148.

пал в края не столь отдаленные по своей халатности, самомнению и честолюбию; Иванова в пьяном виде избили, потому что он тянулся за бутылкой, как ребенок к соске; Зуев покалечился, правда, при исполнении служебных обязанностей, однако автор дает понять, что то же самое могло случиться гораздо раньше, ибо Зуев лихачествовал за рулем и также в сильно нетрезвом виде. Так что друзья и без помощи дьявола обошлись, тайным силам тут делать было почти нечего.

Что же касается четвертого, то, не исключено, Михаил Бриш действительно думает, будто в штате Арканзас как раз не хватает еще одного специалиста именно по его профилю. А если он в самом деле хочет увлечь туда же женщину, считающую себя «почти девочкой» и, однако же, имеющую двоих детей, то его расчетливость равноценна «многозначности» Медведева и содержательности Иванова. Проще говоря, и Мишу мы вынуждены предупредить о том, что увидит он в Арканзасе.

Эти люди таковы, таково их существование, — в условиях явности и тайны, сплетенных при этом между собой до такой степени, что и автор не в силах что-либо подсказать своим героям.

Как произрастают подобные «пентюхи»? Это слово нарколог Иванов употребил по адресу инженера Медведева, однако и на этот раз суждение о других употребимо в первую очередь по адресу судящего, точнее, *общеупотребимо* по адресу персонажей романа «Все впереди». Откуда же «пентюхи» берутся? В объяснение Василий Белов приводит, в частности, такой конкретный пример: 9 июня 1984 года на ряд северо-восточных областей и отчасти на Москву налетел смерч, произошла катастрофа и — будто ничего не случилось. «Об ивановской, костромской и владимирской трагедии Зуев узнал от своей сестры Светланы». Медведев — от парника, который в тех краях случайно очутился и пострадал. Иванов — от Медведева... Словом, изустный телеграф, фольклор вместо информации, а в конечном итоге — еще один шаг к мифологизации сознания. Вроде бы, по своему положению, истинно современные граждане, вооруженные всеми средствами новейшей коммуникации, а на деле, по условиям, — какие-то былинные сказители, вот они и слагают предания, причем не только о минувшем, но и о текущем: как об императоре Николае и президенте Кеннеди, так и о мировых

заговорах, стихийных катастрофах, кроме того, еще и о самих себе.

Происходящее в романе «Все впереди», поступки персонажей, их речи временами побуждали меня вспоминать не только эпизоды тридцати-десятилетней давности, но — девяностолетней давности. «Три сестры»: там, как вы помните, староста Ферапонт рассказывает, будто в «Петербурге мороз был в двести градусов» и «две тысячи людей померзло», а «поперек всей Москвы канат натянут»... Но Ферапонт на то и есть Ферапонт: какие могут быть к нему претензии? Он только оттеняет своими «сведениями» поверхностно-иллюзорные представления людей вроде бы просвещенных, однако рассуждающих так, как рассуждает, например, учившийся в университете Андрей Прозоров или, вернее, как автор заставляет его рассуждать: «Настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то как хорошо!»

Если тридцать лет тому назад надо было предупредить, иначе, заглянув в эрогенные зоны, мы, подобно наркологу Иванову, вероятно, смутились бы и переполошились, не выдавши прежде на экране ничего такого, то и персонажей данного романа можно понять, поскольку важнейшие вещи они узнают — кто от сестры, кто от напарника, вот они и творят этот треп, который вернее было бы назвать бредом, «историческим бредом» (по Герцену) и от которого путь избавления один — знание вместо полумифов.

Василий Белов в этом отношении свое слово сказал, он предупредил.

Андрей Мальгин

В ПОИСКАХ «МИРОВОГО ЗЛА»

И это — Белов?

Таким вопросом задаешься почти на каждой странице его романа «Все впереди». Спрашиваешь себя об этом и с горечью отвечаешь себе: да, Белов. Увы, Белов.

Неужели это он, Василий Белов, признанный мастер языка, замечательный художник, одним существовани-

ем которого гордилась — и не без оснований — наша словесность, неужели он написал — это?

«С прежней мальчишеской легкостью прошел в свою комнату, бросил свое массивное тело в отцовское кресло. Он сидел в позе Островского, запечатленного в памятник неприкаянно сидящим около театральных подъездов». «Группа людей — человек пятнадцать, в том числе сестра Валя с тремя племянницами, — вышла из автобуса». «Переводчица, возглавляющая группу, обладала мужской походкой и довольно обширным торсом...» «Она испытывала обиду на дочь. Но Люба не могла принять эту обиду и немедленно переадресовала ее сначала на жену Зуева, потом и на самого Медведева...» «Ей не приходило в голову, чего это ему стоило. Нет, она никогда не узнает, как он, не однажды, жигулевским пивом (привезенным ею же словно бы специально для этого) гасил свое бешенство, как душил в себе словно змею желание ударить ее костылем...» «В пору своей студенческой молодости, в те самые времена, когда московские отроки пели на вечеринках «Я встретил вас», вошло в обычай разбирать свои родословные». «Чувство невозвратимости без приглашения появилось к нему: первой ли седой волосинкой в височном локоне, о которой, кажется, еще не знала и сама Люба, с первой ли старческой суетливостью в движениях Зинаиды Витальевны».

Думаю, автору романа не надо долго объяснять, что «первая суетливость», «переадресовать на...», «обладать торсом», «группа людей... в том числе», «бросил свое тело» — сказано дурно. А «в пору своей молодости... вошло в обычай...» — просто неграмотно. Что во фразе: «Она вспомнила, что в Москве глубокая ночь и дочь давно спит...» — эти «ночь и дочь» своим случайным созвучием портят все впечатление, уничтожают то настроение, которое фраза призвана навеять. Я уверен, что не надо все это долго объяснять Василию Белову.

«...Богатейшее чувство языка драматически изменило писателю», — читаем в одной из рецензий на роман. Но почему, по какой такой причине изменило? Ведь в языке любого писателя отражается многое. Зачастую даже больше, чем он себе может представить. Давно замечено: неискренним, противоестественным усилием рождена мысль — и не избегнет изъятий форма, в которую она облекается; раздражение выдается за гнев, уязвленное самолюбие за праведное страдание — тут же

и язык отзывается, где-нибудь да проскочит фальшивинка; смута, черные, нечистые чувства овладевают душой писателя — и речь его теряет гармоническую ясность, прозрачность, стройность... Нравственная, социальная путаница приводит к путанице языковой, промелькам косноязычия, к словесной невнятице.

Эту мысль разделяет и В. Белов. В статье 1983 года он писал: «Язык открывает свои чертоги и кладовые только людям с раскрытой душой... кто искренен не только с другими, но и с самим собой... Образ никогда не уживается с обманом, новизна с фальшью... Малейшая фальшь в поведении сразу же сказывается в языке. Чем глубокомысленнее стремится быть просвещенное невежество, тем смешнее оно выглядит, чем человек хитрее во имя своих корыстных целей, тем фальшивее становятся его слова и манера общения. Наоборот, честный и смелый человек может говорить открыто, распахнуто, и тогда язык его становится сильным, ясным, а иногда и образным...»

Язык нового романа В. Белова сразу же просигнализировал читателю: тут что-то не так, заявка не покрывается исполнением, автор кроме художественных задач и в ущерб им преследовал какие-то иные — не совсем поначалу ясные — цели... Дочитав роман до конца, понимаешь: неудача была predetermined, пожалуй, уже тогда, когда произведение существовало еще в замысле.

Попробуем разобраться во всем этом. И начнем с сюжета.

Он прост и незатейлив. Воспользуюсь уже готовым пересказом — из статьи О. Кучкиной («Правда», 2 ноября 1986 года): «Начинается с Парижа. Туда туристами приезжают Люба Медведева, нарколог Иванов и Миша Бриш. Все друг друга знают, но Люба не помнит Иванова и оттого не замечает. А Иванов помнит и начинает следить за ней. Ему кажется, что Люба изменила мужу с другом Бриша. Сообщать или не сообщать об этом ее мужу, с которым когда-то был знаком? Нарколог Иванов мучается этим всю первую часть романа. Медведев в этой части мучается другим: смотрела или не смотрела Люба в Париже порнографические фильмы?.. В результате Медведев запил по-черному... На работе у Медведева происходит взрыв, погибает человек. Медведев оказывается в тюрьме. На этом заканчивается первая часть. Во второй — Любы нет и «никогда больше

не будет». «Она уже не Люба... Да, она не Люба Медведева. Уже давно она Любовь Викторовна Бриш...» Иванов... мучается очередной задачей: как отнять отцовство у злодея Бриша (которого дети, между прочим, называют папой и к которым он добр и внимателен) и вернуть их благородному Медведеву (который много лет, будучи уже на свободе, о них вообще не вспоминал). Тем более что в финале «Бриш каждую неделю шатается по Колпачному переулку» и «вся Москва знает об этом».

Фабула и в самом деле нехитрая. Ее хватило бы на рассказ, ну в крайнем случае — на небольшую повесть. Но В. Белов пишет роман в двух книгах. Чем же в таком случае заполнено обширное романное пространство?

А заполнено оно как раз теми жгучими вопросами, что подвигли автора на написание этого произведения. Особенность романа (отличающая его и от других вещей В. Белова) заключается в том, что герои в нем не столько действуют, живут, сколько трактуют о жизни, обсуждают поступки друг друга, явные и предполагаемые. Реже — спорят, чаще — соглашаются друг с другом, так что иные разговоры напоминают расписанный на два голоса непрерывный авторский монолог. «Читатель видит, — оговаривается в своем разборе романа И. Золотусский, — что мне приходится спорить с высказываниями Белова, а не с картинами Белова. Но что делать, если роман состоит не из картин, а из высказываний, из заметок, так сказать, Василия Белова по текущему моменту» («Знамя», 1987, № 1).

Характеры, особенности душевного склада героев проявляются лишь попутно, в ходе этих самых бесконечных разговоров или в перерывах между ними. Автор романа, похоже, настолько равнодушен к лепке характеров, настолько увлечен высказыванием идей и постановкой «жгучих вопросов», что герои — даже те, к которым он явно неравнодушен и симпатии к которым не устает подчеркивать, — проявляются как бы независимо от его воли. Любопытно, что нередко далеко не с лучших сторон.

Скажем, нарколог Иванов, — самый симпатичный В. Белову персонаж, прямодушный и честный человек, единственный из всех героев романа сохранивший способность к бескомпромиссному суду над жизнью, — в отношении к самому себе проявляет непростительное малодушие и склонность к далеко заводящим compro-

миссам. Будучи (и по убеждениям, и по долгу службы) борцом за трезвый образ жизни, сам он обнаруживает постыдную слабость к алкоголю.

Вот он в Париже пьет армянский коньяк. Сам себе удивляется: «Что же это?.. Нарколог... Ты нарколог? Нарколог, а пьешь. Да еще один. И это второй раз. Или в третий? Рефлекс уже закреплен».

На следующий после возвращения в Москву день нарколог Иванов распивает коньяк в шашлычной на Арбате со своей сестрой. В. Белов и тут воспроизводит внутренние борения (борения ли?) Иванова: «Эдак немудрено тоже стать пьяницей. Да, он пьян, и ему хочется выпить еще! Если завтра он выпьет с кем-то еще, он будет во всем похож на своих злополучных подопечных».

Через несколько дней — еще одно посещение шашлычной, на этот раз на ВДНХ и в обществе более дальнего родственника, Славика Зуева: «Иванов с отвращением отхлебнул коньяку».

Вскоре исчезнет и отвращение — останется любопытство: «Иванов положил в бокал кусок льда, и Бриш плеснул туда большую порцию виски... Иванов отхлебнул и подержал во рту заморскую жидкость... Ничем, кроме отсутствия сивушного запаха, не отличалась она от своих, доморощенных, жидкостей...»

Перелистываем еще несколько страниц. Иванов в обществе очередных собутыльников — Зуева и Медведева: «Иванов резко опрокинул в рот то, что налил ему Зуев. В стакане оказался коньяк».

Нарколог Иванов («Нарколог, а пьешь...») выпивает по очереди со всеми основными действующими лицами: в шашлычных, у них и у себя, в гостях у третьих лиц. Впрочем, на работе тоже: «Коллеги Иванова, нередко даже в служебное время, как могли пособляли своим клиентам. Поводов было в достатке. Иванов до сих пор не всегда отказывался от этих гнусных попок, он оправдывал себя тем, что во имя пользы дела следит за «динамикой адаптации»...»

Вот оно, оказывается, в чем дело: у нарколога интерес к выпивке профессиональный. Это он опыты на себе ставит.

Похвальная жертвенность во имя интересов любимого дела.

«Организм понемногу привыкает к интоксикации... — думал спящий Иванов. — За счет чего? И поче-

му эта интоксикация вначале приятна?» Желание проснуться и записать нечто потрясающе важное, открытое только что, — это желание было переборото сном». «Это самоубийство, — проснулся Иванов, — пить водку после сухого и коньяка — это самоубийство...» Иванов с интересом коллекционирует симптомы опьянения: «Он засек еще одну деталь — движения плохо координировались» (ценнейшее наблюдение!), а также похмелья: «Голова, казалось, раскалывалась на куски», «сухость во рту, тошнота, некоординируемые движения», «отвратительная пустота в желудке», «сосущая тошнота». «Спирт, разбавленный клюквенным морсом, нейтрализовался в крови так медленно...»

Завершив первую часть романа, автор оставляет своих героев и во второй части возвращается к ним уже спустя десять лет. Иванов все это десятилетие неутомимо продолжал свои эксперименты. В изучении «зеленого змия» он, видимо, мало продвинулся, ибо характер опытов изменений не претерпел. «Вместо того, чтобы отстранить фужер, куда Бриш налил примерно пятьдесят граммов золотисто-коричневой коньячной жидкости, Иванов, вопреки самому себе, взял посудину... Поколебавшись и странным образом погасив эти колебания, Иванов поднял фужер. Он был уверен, что контролирует ситуацию, и сделал неохотный глоток. Жидкость, слегка отдававшая самогоном, все же не вызвала второго рефлекса. Иванову было хорошо известно, как протестующе сокращался желудок от одного запаха водки. «Характер эйфории также иной, — отметил он про себя и отхлебнул снова, — она наступает медленнее...»

Спустя десять лет собутыльники — простите, товарищи по эксперименту, — все те же. «Так-то ты борешься с этим злом, — съехидничал Зуев и пощелкал по одной из бутылок». Иванов вместо ответа «без всякого тоста выпил полбокала шампанского, а потом вслушивался в эти тосты с ухмылкой:

— Поразительно, с каким умением зло приспособливается к обстоятельствам.

— Ты... опять об этом? — Зуев пощелкал по бутылочному стеклу».

Нет, опасная все-таки профессия у Иванова.

Почувствовав, видимо, необходимость как-то оправдать Иванова в глазах читателя, а может быть, и для того, чтобы показать, какая он сложная, неоднозначная фигура, автор романа неустанно подчеркивает, что

пьянство само по себе его герою отвратительно, что в минуты просветления он становится противен самому себе, что хотел бы не пить, «завязать». «Он сознавал сильнейший риск — риск привыкания, но снова и снова откладывал тот день, когда выпьет последнюю в своей жизни рюмку... таких «последних» дней он насчитал уже несколько». «Нет, со всеми экспериментами покончено. Больше он не проглотит ни грамма этой мерзости. Ни грамма». «Никогда, никогда, ни одного глотка! Тут совершенно все ясно. Без экспериментов...» «Что со мной? Надо остановиться. Это черт знает что...» Иванов даже заключает пари с Медведевым, что больше не выпьет ни глотка. Тем не менее уже на следующий день не только напивается в обществе Бриша и его юных друзей, но даже попадает в вытрезвитель.

Нарколог в вытрезвителе!

И все же В. Белов на его стороне — автор довольствуется даже теми хилыми ростками раскаяния, что тревожат время от времени похмельное сознание Иванова. Его симпатии не угасают даже тогда, когда Иванов совершает поступок, странный для врача: уговаривает одного из больных взять вину на себя, то есть заявить, что это он, мол, попал в вытрезвитель, а вовсе не его лечащий врач, удостоверение же, оставшееся в вытрезвителе, он, больной, якобы у врача выкрал. Ни Иванов, ни автор не сомневаются в логичности и моральности такого поступка.

Прыжки раскаяния, самоуничужения Иванова автор показывает обильно, не без удовольствия. Иванов на страницах романа, кажется, только и делает, что занимается самобичеванием. Порывы раскаяния должны, по всей видимости, извинить некоторые, по меньшей мере странные, поступки Иванова...

Вот он преследует Любу Медведеву в Париже, крадучись, шпионит за ней в гостинице («Он осторожно ступил к коридорному повороту», «Иванов сначала тихо, потом побыстрее пошел вверх по лестнице...»). «Черт бы побрал, — очнулся он и покраснел от стыда. — А какое мне дело? Наплевать, пусть...»

И все же наш праведник не наплевал: «Я обо всем расскажу Медведеву». А о чем «обо всем»? О том, что Люба стояла у дверей своего номера с одним из участников туристической группы? О том, что проводила свободное время со своим школьным товарищем Бришем? Ведь больше никакого криминала за ней не чис-

лилось. Во всяком случае, Иванову ни о чем более не было известно наверняка.

Иванову принципиально важно решить для себя один вопрос: выиграл Бриш пари, заключенное с Аркадием (бутылку виски «Белая лошадь»), или нет. И вот на обратном пути на таможне он пристроился к Бришу и «на один миг взглянул в распахнутый бришевский чемодан». Взглянул — и тут же ощутил «отвратительное чувство подглядывания. Он отвернулся».

Отвернуться-то отвернулся, а мозг работает: была там бутылка виски или нет? Впрочем, накатывает очередная волна раскаяния: «И вообще... не лезь в это гнусное дело! Ты и так уподобился бог знает кому. Следил за каждым ее шагом, словно ищейка. Отвратительно...»

И все же, борясь с собой, Иванов продолжает шпионить! Вот он едет, неузнанный, по эскалатору метро следом за Медведевой и Бришем. Преследует их, а сам мысленно кается: «Иванов проклинал сам не зная кого, краснел и чувствовал себя отвратительно... Опять получилось так, что он как бы шпионил!» «От этой мысли уши Иванова опять налились жаром...»

Бриш восклицает в сердцах: «А устраивать за мной слежку — это не гнусно?» «Да, я согласен, — понурившись, поддерживает эту мысль кроткий Иванов. — Гнусно и это». Ну, что возьмешь с этого кающегося грешника? «Мучительный стыд снова терзал его», «ненависть сменилась стыдом за себя...»

Поневоле вспоминаются Альхен и Сашхен, герои бессмертной книги Ильфа и Петрова: они ведь тоже, безжалостно обирая безропотных обитателей богадельни, при этом вздыхали и заливались краской стыда.

В. Белов безрассудно влюблен в Иванову. Он, например, подчеркивает, что тот — натура широкая, «русская», склонная к отчаянным, безоглядным поступкам. Но в то же время живописует, ничтоже сумняшеся, как милый ему герой «трясся в Париже над каждым франком, как считал алюминиевые сантимы». Кстати приходится и рассказ о том, как Иванов наблюдал на парижской улице бродячих циркачей. «В коробке из-под киноплетки белело две или три монеты. Иванову хотелось положить этим ребятам франк либо два, но было почему-то стыдно, и он поспешно пошел дальше». Надо же, какой стыдливый...

Иванову доверяет автор романа ответственную роль некоего верховного судьи, блюстителя нравственности. Из его уст звучат наиболее значительные, наиболее принципиальные нравственные приговоры. Взгляды их — героя и автора — во многом совпадают.

Иванов возмущается: «В молодежных газетах уже появились сексуальные обозреватели. Сексологи пошли по Руси, сексологи! В Вологде, я слышал, медики открыли службу семьи...» «Не может быть!» — восклицает потрясенный до глубины души Медведев. «Неужто дошло до таких мерзостей? Феноменально!» От кого же «слышал» москвич Иванов о вологодских «мерзостях», то бишь о службе семьи? Конечно же, от вологодского жителя Василия Белова.

Медведев с Ивановым с гневом обличают идею (согласимся, и в самом деле порочную, но раз оцененную по достоинству) перераспределения стока северных рек. Но кто вложил им в уста эти страстные речи? Опять же Василий Белов, мы не раз читали об этом в его выступлениях.

Иванов с Медведевым возмущаются аэробикой, то есть ритмической гимнастикой, — а ведь все это мы уже прочитали в статье В. Белова «О жанровой и другой новизне», дважды публиковавшейся. Характерно, что Медведев через запятую перечисляет следующие главные пагубы цивилизации: «Аэробика, поворот рек...» Как же прихотливо должно быть устроено сознание у героя и его автора, чтобы поставить эти проблемы в один ряд!

Автор сокрушается, что в последние годы у нас в стране «фанта и пепси-кола усердно соревновались с другими напитками». Иванов (в другом месте романа) выражается еще резче: «А пепси-кола и фанта — это прогресс? Если понос относится к атрибутам прогресса, то я сдаюсь!» И снова полное совпадение авторской точки зрения и мнения, высказываемого героем...

Еще пример. Автор вспоминает те не совсем давние времена, когда «девчонки, катаясь на лодках, еще сидели тогда не иначе, как со сдвинутыми коленками. Хотя длина сарафанов (в городе, полагает В. Белов, женщины ходят исключительно в сарафанах. — А. М.) уже стремительно сокращалась и белые танцы смело внедрялись в беззащитный и неустойчивый молодежный быт». Мы так и не узнаем, как относится к белым танцам и раздвинутым девичьим коленкам Иванов, но к длине

женской одежды он свое отношение высказывает — упрекает сестру за то, что ее юбка, как ему кажется, слишком коротка, даже тянет за подол, пытаясь придать юбке нужную длину. «Почему женщинам все время хочется... — сопровождает он свои манипуляции пояснениями, — это самое... обнажаться. Растелешиваться, как говорят. Демонстрировать, так сказать...» Сестра ему примечательно отвечает: «Каждый судит в меру своей испорченности!» Не раз по ходу чтения романа приходилось вспоминать эту фразу.

Вот Иванов ходит по парижским музеям. Его взгляд останавливает «незаконченная картина Тулуз-Лотрека. Художник изобразил на ней женщину в отвратительной, совершенно циничной позе. Зачем? Для чего было помещать эту картину здесь... Непонятной, издевательской показалась Иванову и одна из скульптур в музее Родена: там женщина изображена была в позе лягушки...»

Тулуз-Лотрек произвел на Иванова столь глубокое, ошеломляющее впечатление, что он не раз возвращается к нему мыслью — и во Франции и дома: «...и почему-то снова вспомнил картину Тулуз-Лотрека»; «...теперь вот еще этот Тулуз-Лотрек... с таким отвратительным упорством сидит в памяти...»

Еще ситуация. Иванов в гостях. Заходит в ванную комнату и видит, что там хозяйка стрижет ногти на ногах. «Иванов повернулся и на долю секунды замер, стараясь никуда не глядеть. Закинув халат, Наталья как раз поставила ногу на табурет. Под халатом... ничего больше не было. Иванов поспешно ушел из ванны (видимо, из ванной? — А. М.). Но глазная сетчатка успела запечатлеть толстую Натальину ляжку, волосы и кожную складку в области паха».

Нет, интересно все-таки устроена «сетчатка» у этого персонажа. И из посещения музея ничего, кроме обнаженной натуры, не запомнил, и, на несколько секунд зайдя в ванную, под халат находящейся там женщины успел заглянуть...

«Бесстыдство», — подумал Иванов о Наталье. Что же, возможно, она того заслуживала. Но заметьте: о Наталье, не о себе.

Теми же особенностями зрения отличаются многие герои романа. «Собака у всех мужчин обнюхивала ширинки», — отмечает Иванов. Взгляд Медведева останавливают и «посиневшие разбухшие окурки» в писсуарах,

и «содержимое мусорных ящиков с плевками, живыми крысами», и «кровавое месиво раздавленного под колесами животного», и даже «ватные тампоны в пляжных будках». Еще один персонаж, Женя Грузь, «в детстве мечтал о женщине, которая вообще не ходит в уборную». Медведев спрашивает у него как-то раз: «Послушай, Женя, а у тебя была любовь?» «Была, да сплыла... — ответил Грузь. — Я пригласил ее в гости к приятелю. Там коктейли, музыка и все такое. А у меня на брюках расстегнулась молния, а я был в белых трусах... На этом все и кончилось».

Еще пример обезоруживающей откровенности: «Ой, Миша, я так испугалась, так испугалась! Кажется, чуть не уписалась. А ты?» (Наталья Зуева)

А вот разговор Бриша с носильщиком на вокзале:

« — Слушай, ты в баню ходишь?

— Хожу, — носильщик замешкался. — Ну и что?

— Скажи, а как ты задницу моешь, стоя или сидя?

— Стоя, — растерялся носильщик.

— Ну и зря! — убежденно сказал Бриш. — Вполне можно и сидя. Сперва одну половинку, потом другую. У каждой задницы две половинки, одна левая, другая правая...»

Он же, Бриш, оперирует такими понятиями, как «кибенематик» (остроумно, не правда ли: что-то среднее между «кибернетик» и «математик»). Медведев с Грузем затевают шуточный обмен мнениями о «педиках» и «лесбиянках»: «За что вы их так, Дмитрий Андреевич? — деликатно спросил Грузь. — Извращенец-то». «За то, что у них не бывает потомства!» — расхохотался Медведев.

Как-то неловко слышать все это из уст людей, которых автор выдает за типичных представителей московской интеллигенции.

Беда не в том, что они в охотку обсуждают темы определенного свойства, а в том, что они толкуют только о них. Герои «Привычного дела» и «Плотницких рассказов» гораздо более целомудренны и чисты, а из уст их звучит значительно более правильная и богатая речь.

Увы, все особенности языка персонажей характерны и для речи авторской. Вот как, например, описывается В. Беловым стакан с виски: «Лед начал медленно таять, разбавляя коричневый цвет в желто-соломенный, напоминающий другие, совсем другие анализы...» С труднообъяснимой частотой возникают на страницах романа

упоминания о половом бессилии. Тут и «духовная импотенция» («Ничего не может, шабаш! Только говорить и мечтать»), и импотенция в своем прямом значении («Ты что, не видишь? Он, как неопытный новобранец, все патроны расстрелял в молодости. Теперь остался без боеприпасов»; «...лимитчики решили его вылечить от импотенции...»), и довольно-таки странные сравнения («Москва, конечно, была нужна... он как бы держал ее под боком, но сам, словно классический импотент, то и дело ускользал из ее жарких объятий»).

Привязанность автора к подобной тематике О. Кучкина в упоминавшейся уже правдинской статье объяснила с обезоруживающей прямоотой: «Ученые говорят, да и практика подтверждает, что где-то между 50 и 60 годами в человеке (и мужчине тоже) происходят физиологические изменения, воздействующие и на психику, когда могут смещаться представления о себе и о мире...» Не хочется, но приходится присоединиться к ее догадке...

В. Белов многим раздражен в современной городской жизни. Но понимает, что высказать все свои оценки впрямую, в авторской речи, не может,— пишет он все-таки роман, а не публицистическую статью. Слишком уж этих оценок много. И тогда он навязывает их своим героям. Причем ему даже не важно, кто из них изрекает очередное наблюдение о падении нравов. Главное, чтобы наблюдение было изречено, зло заклеено, а о том, что поступки героя могут находиться в противоречии с той или иной навязанной ему декларацией, автор романа не задумывается. Читателю остается только досадовать, наблюдая, как в один ряд с действительно крупными, жгучими проблемами нашей жизни вписывают герои Белова придирки куда более мелкие, не заслуживающие ни такого пристального внимания, ни такой силы обличения. «Аэробика, поворот рек...» — хорошая тому иллюстрация.

Вложенных в уста персонажей вздорных оценок так много, что впору растеряться. Видимо, писатель полагает, что именно таким образом и осуществляется та публицистичность, которая, по утверждению иных критиков, непременно должна ныне пронизывать каждое подлинно современное произведение. Может, эти критики и правы, но путь, выбранный автором романа, трудно назвать удачным. Хоть это путь и кратчайший.

И праздников, видите ли, в нашем календаре слишком много (Грузь), и песня Д. Тухманова на стихи Р. Рождественского плохая (Иванов), и аббревиатуры засоряют русский язык (Медведев), и «останавливать надо не только гонку вооружений, но и гонку промышленности», поскольку «техника агрессивна сама по себе» (Медведев), и Госплан не учитывает реальные потребности населения в туалетной бумаге (Зуев), и живопись последних лет занимает неоправданно много места в Третьяковской галерее (Медведев), и синтетические носки и наволочки без пуговиц давно следует снять с производства (Зуев). Медведев полагает, что детские сады детям вредны («Он считал, что дети в эпоху этой пресловутой НТР лишены детства: едва появившись на свет, они начинают взрослую жизнь»¹). Он протестует даже против домашних библиотек («...он решительно пресек Любины поползновения на его комнату, не разрешил заполнять пространство книгами и безделушками»).

Герои В. Белова, кажется, только и делают, что брюзжат и брюзжат. Их все не устраивает, все не отвечает их вкусу: от Госплана до синтетических носков. Например, «курильщики раздражали нарколога, пожалуй, не меньше, чем алкоголики, табачная вонь повсюду стояла в Москве. Достаточно было в час пик пройти от театра Ермоловой до Моссовета, чтобы голова закружилась от табачного дыма». Иванов не просто мысленно возмущается курильщиками, он пытается наставить их на путь истинный. В тамбуре электрички: «Мальчики, может, перестанете курить?.. Как же будете с девчонками-то целоваться...» В сквере за памятником Пушкину (обращаясь к юношам, дымящим «на Иванова слева и справа»): «Наверное, вот так же чувствует себя сеledка, когда ее копят». И в том, и в другом случае он нарывается на грубость. И не приходит Иванову в голову задать себе простой вопрос: а зачем ты в тамбуре прокуренном стоишь, кто тебя заставляет? Или: зачем именно на ту скамейку опустил, где сидят курящие люди?.. Но нет, Иванов в своей принципиальности аг-

¹ Ср. в статье В. Белова «Вспомним детство» (1984): «...как рано у нынешних детей появляются обязанности, отнимающие время у стихийных детских восторгов, как быстро дети лишаются своей детской сути, превращаясь в малые копии взрослых... Многие из детей уже в этом возрасте тратят уйму сил в борьбе против садика, непосильных обязанностей, регламентаций».

рессивен, лишен сомнений в собственной правоте (если не считать периодически накатывающих приступов раскаяния), принципиальность его направлена на кого угодно, только не на самого себя. В конце концов, уж кому-кому, а *наркологу* должно быть прекрасно известно, что привычку к никотину, равно как и привычку к алкоголю, одними увещаниями не преодолеть.

Медведев задуман автором как некая противоположность Иванову. У них вроде бы разные темпераменты, разные судьбы. Однако во многих (слишком многих!) ситуациях они ведут себя как «близнецы-братья». Едва познакомившись с Грузем, Медведев пристаёт к нему с вопросом: «Женя, вы мужчина или младенец?.. Если мужчина, то почему с соской?» «Все же сигарета и соска не одно и то же», — резонно возражает Грузь, а находчивый Медведев в ответ: «Разница в одном: соска безвредна». Под влиянием неотразимой медведевской пропаганды Грузь бросает курить и уже сам включается в борьбу с никотином — набрасывается на всех курящих женщин, обзывает их «курицами» (поясняя: «Курица — значит, курящая женщина...»).

Продемонстрированные в ходе борьбы с никотином нетерпимость, отсутствие такта и уважения к собеседнику, самонадеянная уверенность в собственной правоте, топорный, какой-то солдатский юмор делают Иванова, Медведева, Грузя не просто похожими друг на друга — они практически сливаются в одно лицо. (В. Лакшин в своей дельной статье «По правде говоря» в «Известиях» по этой самой причине ошибочно приписал высказывание Грузя о «курицах» Иванову, а реплику Иванова о чебуреках — Медведеву.)

Я не решусь на прямое утверждение, что разительная схожесть этих персонажей произошла по той причине, что во многом они несут на себе черты личности автора. Но подобные совпадения и сближения подталкивают все-таки читателя к этой мысли. Вряд ли автор романа рассчитывал на такой эффект.

А как вам нравится такой разговор Медведева с Ивановым (совершенно неважно, кому из них принадлежит какая реплика):

« — Говорят, Хаммер построил нам дом торговли, а в доме целый синтетический сад.

— Он всегда отделялся от нас суррогатами».

Суррогатами? — переспросим мы. Уж не хлеб ли в голодном 1923 году имеется в виду? Или лекарства

для пострадавших в Чернобыле? А может быть, выставки художественных шедевров или те картины русских художников, которые Хаммер недавно передал в дар Советскому фонду культуры? Должен же быть предел субъективизму персонажей — неужели автор не понимает этого? Или он и впрямь разделяет этот субъективизм? Не хочется в это верить...

Впрочем, есть в романе декларации и посерьезнее; находясь в ряду незначительных претензий и придирок, они не сразу обращают на себя внимание.

Иванов мысленно ужасается: «Иной журналист ругает западных наркоманов, а практически сообщает технологию приготовления наркотиков. По телевизору ругают буржуазные нравы, показывая обнаженных красоток. И получается, что миллионы подростков жадно смотрят узаконенные стриптизы... Кому-то позарез нужна нравственная анестезия...» Но кому же, кому это нужно, кто это не покладая рук пытается разложить наше советское общество? До поры до времени В. Белов воздерживается от ответа на этот, неминуемо возникающий вопрос.

Но вот он, простите, его персонаж, высказывает недовольство «Литературной газетой». Медведев ядовито спрашивает у Грузя: «Ты ведь любишь «Литературку»? Причащает и исповедует. Организует службу знакомств, проагандирует культурное питание. Уникальнейший орган, не правда ли?» Иванов, в свою очередь, говорит Медведеву: «Литгазета» пишет: развод нужен для детей, чтобы они, мол, не страдали и не портились при виде родительских неурядиц». Медведев охотно подхватывает: «Какая же демагогия! А они спросили самих детей? Самая скандальная семья для ребенка лучше, чем никакая». Чем она лучше, Медведев не разъясняет, доказательств в подтверждение своей мысли не трудится подыскивать (и правильно: на страницах романа с ним никто не собирается спорить), зато неожиданно разражается следующей тирадой:

« — Чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами... Достаточно посорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам. Не так просто, но возможно.

— Еще надежнее вот это! — Иванов налил шампанское и выпил один, залпом».

Прочитал и глазам своим не поверил: это что же, получается, что «Литературная газета» своими памятными статьями о «культурном питии», о разводах, о месте мужчин и женщин в современном обществе ни больше ни меньше как пытается «уничтожить какой-нибудь народ»? Какой, интересно?

И снова Василий Белов недосказывает. То, что он имел в виду, можно понять лишь по косвенным, разрозненным репликам и замечаниям персонажей.

Или уже Медведев объясняет Иванову: «...крестьянская изба, братец, всегда спасала Россию. И если мы погибнем, то отнюдь не от «першингов»... Крестьянская изба — это все равно что... подводная лодка, она всегда в автономном плавании. Одна она и способна на длительные самообеспеченное существование. Причем, заметить, не только во время войны. Потому так яростно и уничтожаются во всем мире крестьянские хижинки!» Если сопоставить начало и конец тирады Медведева, становится ясно, что, по его мнению, кто-то уничтожает в России крестьянские избы; если же крестьянские избы будут уничтожены — «мы погибнем». То есть получается, что снова вступает в действие некая неназванная могучая сила, энергия которой направлена на уничтожение целого народа. На этот раз сказано определенно: русского народа.

Об опасности, грозящей русскому народу, не раз упоминают Иванов и Медведев. От кого или чего она исходит, можно догадаться опять же по намекам.

Иванов растолковывает Медведеву преимущества православия перед другими религиями: «Ислам, например, если не обязывает, то разрешает убивать иноверцев. Я уж не толкую об иудаизме...» Фраза оборвана. Получается, что иудаизм не только разрешает, но и обязывает убивать иноверцев. Например, православных. Вполне логичное завершение мысли Иванова.

Еще один любопытный эпизод. Женя Грузь, веселый, бесшабашный, но, как выяснится позже, умный и принципиальный парень, на шуточный вопрос Медведева, какую из организаций он считает для себя «самой ненавистной», вполне серьезно отвечает, понизив голос: «Масоны». «Где ты их видел? — спрашивает Медведев. — О них никто толком ничего не знает». «Именно поэтому я и испытываю к ним отвращение», — говорит Грузь. Через несколько дней Грузь погибает. В романе не проводятся прямые причинно-следственные связи

между антимасонскими настроениями Грузя и его гибелью, но у Бриша, которому автор дважды поручает объяснять причину его смерти (в первой части — в разговоре с Ивановым, во второй — с Медведевым), проскальзывает: «Но этот идиот залез... в святая святых». Снова теряешься в догадках, насколько в прямом, а насколько в переносном значении выразился Бриш.

Полноте, возмутится кто-нибудь из читателей, не приписывает ли В. Белову автор статьи то, чего в романе нет?! А что я могу поделать, если разного рода намеков, таинственных недосказанностей, оборванных на полуслове разоблачений на страницах романа так много, что читатель поневоле начинает искать скрытый смысл едва ли не за каждой его строкой. На обилие намеков, кстати, указали почти все рецензенты романа: и О. Кучкина, и Н. Иванова, и И. Золотусский. Дмитрий Иванов («Огонек», 1987, № 2) пошел дальше всех: по его мнению, книга Белову не удалась по той лишь причине, что он «писал ее по-старому, писал с оглядкой, боялся воплотить и выразить то, как он — пусть предвзято, пусть пристрастно — понимал жизнь. Боялся — и разладился, и вольно и невольно ограничился непонятными, малозначащими, невыразительными намеками». Можно себе представить, что довелось бы нам прочесть в романе Белова, доскажи он на его страницах все свои намеки!

Для расшифровки «намеков» важное значение имеет следующая фраза Иванова после его странного, оборванного на полуслове заявления об иудаизме. «Не знаю, как насчет бога, а дьявол есть, это уж точно. Я ощущаю его везде и всегда». И после реплик других персонажей, вступивших в разговор: «Существует могучая, целеустремленная, злая и тайная сила, ты что, не знал? И мало кто сознательно выступает против нее...» Медведев возразил: «Нечисть тогда только сильна, когда перестают ее игнорировать». Далее следует такой диалог:

« — Иными словами, мы ее сами создаем, что ли? — насмешливо заметил нарколог.

— Может, и так. Зло бессильно, пока не воплощено. А можно ли воплотиться тайно от всех?

— Я не сказал, что от всех... А воплотиться очень даже легко.

— Во что?

— Да во все! В эпидемию гриппа хотя бы. Или в бомбу Теллера. В войну между Ираном и Ираком, в эту вот штуку, наконец.— Иванов постучал по бутылке вилкой.— Ты знаешь, сколько у нас дебилов рождается?

Медведев для всех неожиданно согласился:

— Ты прав, я сдаюсь!.. На Западе дьявол использует в своих целях деньги, у нас бюрократию...»

Итак, существует тайная дьявольская сила, которая, судя по вышеприведенному обмену мнениями, использует в нашей стране по крайней мере три инструмента: во-первых, алкоголизм, во-вторых, бюрократический аппарат, в-третьих, органы массовой информации.

Далее в уста Медведева («Медведева, почти все понимающего и сильного, почти свободного и застрахованного от большинства социальных вирусов») автор вкладывает следующий взволнованный монолог:

«Мировое зло прячется в искусственно созданных противопоставлениях. Экономических, культурных, национальных. Принцип «Разделяй и властвуй!» действует безотказно. Он незаменим не только относительно людей, но и относительно времени. Даже время мы разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы не существует, и это позволяет твоему дьяволу придумывать и внедрять любые теории, любые методы. Например? Например, разрушение последовательности. Оно происходит всегда безнаказанно, потому что результаты сказываются намного позже. Как?.. Поверхность, допустим, уже покрыта лаком, а деталь передают другому, и тот начинает ее строгать. Или, не изучив арифметику, приступают к алгебре, в результате человек не знает ни то, ни другое. Взгляни вокруг трезвым оком (резонный совет, обращенный к Иванову. — А. М.), и, не спеша, ты сразу узришь... С разрушением последовательности исчезает ритм, а с ним исчезает и красота...» Далее Медведев рассуждает «о мерзости организованных общественных тайн. О двойниках. Что такое свобода? Это не тайна. Это открытость, нераздвоенная душа.

— Даже в камере?— подковырнул Иванов.

— Даже в оковах! Нераздвоенный человек может сидеть в тюрьме, но он свободней раздвоенных, тех, кто зависит от тайных и нетайных организаций».

И вот как подытожил эту содержательную беседу Иванов:

«Уж лучше погибнуть в атомной схватке, чем жить по указке дьявола!»

Остается благодарить PROVIDЕНИЕ за то, что решение вопроса об «атомной схватке» зависит у нас все же не от таких вот доморощенных философов.

Я уже говорил о том, что в своих оценках герои романа мало в чем расходятся друг с другом. С вышеприведенным разговором Медведева и Иванова хорошо монтируются фрагменты из писем и записных книжек погибшего при странных обстоятельствах Грузя:

«За идеализацию нашего будущего и прозвали нас оптимистами. Со всей безоглядностью и верой в справедливость подобной оценки мы ежеминутно отрекались от своего настоящего, то есть от самих себя». «Теперь нам пора отрешиться от всяких иллюзий. В том числе и от той, что все впереди». «Опасность идеализации прошлого тоже есть, но она несоизмерима с идеализацией будущего... Бесы всегда ругают прошлое и хвалят будущее. Будущее для них вне критики».

Разумеется, «записки» Грузя, в развитии фабулы не играющие ровным счетом никакой роли, нужны для полемических целей. Во-первых, таким образом можно решительно (хотя и устами героя) отмежеваться от «исторических оптимистов», однозначно относя мысль о светлом будущем в разряд «всяких иллюзий». Во-вторых, писатель попутно отвечает на не раз высказывавшийся в его адрес упрек в излишней идеализации прошлого. Те, кто этот упрек высказывал, именуются «бесами», то есть, по всей видимости, имеют отношение к той «дьявольской» силе, что покушается на все русское и не дает спать спокойно автору и героям романа. К числу «бесов» принадлежит, разумеется, и доктор исторических наук Ю. Н. Афанасьев, автор последней по времени и наиболее резкой оценки антиисторических тенденций в книге В. Белова «Лад» («Коммунист», 1985, № 4).

«Все впереди» — называется роман. Герои его находятся во власти этого, как полагает В. Белов, заблуждения. Бриш еще в школе получил кличку «Идущий впереди». Это самый махровый исторический оптимист: все его действия, каждое мгновение его рационального существования направлены на продвижение ко все более устроенному, улучшенному бытию. Впрочем, и Люба в разные периоды своей жизни свято верит, что «все лучшее у нее впереди». «Все впереди. У тебя все изме-

нится, Женя», — говорит Грузю Медведев, а тому жить-то осталось несколько дней. «Все впереди», — полагает Медведев, вернувшись из заключения и не зная, что лишился семьи.

Единственный человек, догадавшийся, что впереди мало хорошего, погибает. Медведев, наткнувшийся на записки Грузя, прозревает. Он отказывается от борьбы за своих детей (Иванов: «Ты предал своих детей!»), не хочет даже в малом поправить условия своей жизни, не желает выводить на чистую воду Бриша. Зачем все это? Ведь впереди — ничего не будет. Впереди — конец света. Все вокруг рушится, люди вырождаются, спиваются, погибают, становятся калеками — и в физическом и в духовном смысле. Борьба бесполезно — царство дьявола неотвратимо.

К этой основной — апокалипсической — идее романа мы еще вернемся. А пока продолжим разговор о том, какие, по догадкам В. Белова, методы используют тайные внешние силы для уничтожения русского народа. Наибольший урон ему эти силы нанесли, пристрастив его к алкоголю. Мысль эту Василий Белов проводит особенно настойчиво.

Иванову сообщает его коллега нарколог: «На них же (алкоголиках. — *А. М.*) товарооборот держится. И ни одна зарубежная шавка об этом даже не твякнет». «Значит, нравится, — согласился Иванов. — Зато все голоса прямо воют о правах человека».

А вот еще один разговор Иванова с Медведевым:

« — Тогда ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Алкоголь относится к разряду наркотиков?»

— Смотря кем, — усмехаясь, сказал Иванов. — Всемирная организация здравоохранения считает, что это наркотик, а институт имени Сербского не считает. (Ага, отметим про себя, теперь-то мы точно знаем, что заодно с «зарубежными шавками» не только «Литгазета», но еще и московский институт судебной психиатрии. — *А. М.*)

— Мне все ясно. Теперь понятно, почему все эти голоса помалкивают насчет нашего пьянства.

— Зато о правах так называемого (? — *А. М.*) человека долдонят день и ночь.

— Потрясающе!.. И все эти права сводятся у них практически к одному: к свободе передвижения. Иными словами, к открытым границам... Но куда и зачем уез-

жать, например, нашим дояркам и трактористам? Для них важны совсем другие права...

Однако наркологу, продолжая тему, гнул свое:

— Дмитрий Андреевич, скажи, что и сколько имеют право пить наши доярки? Я уж не говорю о трактористах...

— Я бы не сказал, что они трезвенницы! — засмеялся Медведев.

— Ты вот смеешься... А еще президент Кеннеди запрещал журналистам писать о нашем пьянстве. Зачем, дескать, мешать? Пусть пьют, скорей развалится. Выродятся, не надо никакой водородной войны...

— Джон Кеннеди? Не может быть! Откуда у тебя такие сведения? Единственный президент, которого я хоть сколько-то уважал. Может, не он?

— Он, он, успокойся. То есть и он тоже. Вместе с Никсоном, с Джонсоном».

Но кто же, кто осуществляет внутри нашей страны все эти заморские выдумки, кто проводит в жизнь приказы могущественной тайной организации? Неужели не вывел Василий Белов в своем романе ни одного такого человека? Вывел. Одного. Это Михаил Бриш.

Истинное лицо его становится понятным Иванову, когда выясняется, что Бриш и его дружки умышленно напоили нарколога и отправили в вытрезвитель. «...Он заодно с этой веселой компашкой, — прозревает Иванов, — они только и делают, что отрабатывают варианты. Моделируют... Надо бы выяснить на досуге, случайны ли подобные начинания. Или они генерируются кем-то? А после подбрасываются нам «для внутреннего употребления». Всюду модели. Моделируют музыку, природу. Течение рек. Самого человека. Медведев сказал как-то, что теперь человечеству вполне по силам смоделировать апокалипсис... Репетиция конца света?.. Там, за океаном, уже знают, сколько русских останется к двухтысячному году... Сколько и что мы выпьем в этом году, сколько в том... Они знают, какая у нас будет смертность, сколько детей будут рожать наши женщины. Высчитали даже процент дебильности. Они моделируют войны. Экономiku и политику. Поведение женщин и молодежи. Ведь идеологические наркотики ничуть не хуже физиологических. Да, да, наркотик моделирует поведение! Это так просто. Ведь не ты же отплясывал с этой девчонкой!.. Боже мой, как же тогда жить? Как сохранить совесть, будучи сильным и неза-

висимым?..» «Я не хочу, не желаю быть объектом эксперимента! — мысленно возопил нарколог. — Не желаю. Я — человек. И никакому дьяволу не позволю экспериментировать надо мной!»

Вот такие путанные, хотя и страстные, мысли пронеслись в голове Иванова, обнаружившего, что, попав в вытрезвитель, стал жертвой заговора, организованного против него Бришем.

Бриш — страшный человек. Он пробрался в семью Медведева, присвоил себе (усыновив) его детей, украл у них медведевскую русскую фамилию и наградил своей. Каждую неделю он ходит в Колпачный переулок, где помещается ОВИР, и ходатайствует о выезде, вместе с медведевскими детьми, разумеется.

Бриш выпивает с Ивановым и предлагает лицемерный тост: «За русскую удадь! За ту самую, что... В общем, за русскую...» Иванову не нравится этот тост: «При чем тут какая-то русская удадь?.. Что ты пристал к ней?» Он почувствовал в словах Бриша скрытую издевку. «Удадь... Ваша удадь...» — задумчиво повторяет Бриш, Иванов же на это взрывается: «Да, удадь! А что бы мы запели без этой удали? Что — без этой удали был бы, по-твоему, сорок пятый? Или восемьсот двенадцатый? Мой отец в семнадцать лет пошел добровольцем на фронт! И умер от ран! Оба моих деда погибли в московском ополчении».

Совершенно непонятно, почему Иванов сорвался на крик, — ничего обидного о русской удали Бриш как будто не сказал. Но еще непонятнее реакция самого Бриша на взволнованный монолог Иванова:

« — Не суй мне в морду эту войну! Прошло почти полвека.

— Пшел ты... — Иванов, сдерживая желание ударить, обессиленно откинулся в кресле. — Пшел ты знаешь куда?»

Вот так и поговорили...

Однажды в шутку Иванов сказал Бришу, что Христос не еврей. Уязвленный Бриш тут же присобачил ему «здоровенный антисемитский ярлык». Иванов делает вид, что ему непонятна чувствительность Бриша к национальному вопросу, однако сам он в этом вопросе не более терпим (в одном ряду и его вскользь брошенное замечание о чебуреках — «не отказался бы... хоть это и не русское блюдо», и истерический припадок после упоминания о русской удали).

Скажу откровенно, называя вещи своими именами: мне, русскому человеку, стыдно, горько было читать те страницы романа, на которых когда намеками, а когда и впрямую поощряется национальное высокомерие, утверждается рознь между представителями разных народов и народностей нашей страны. Нет, никогда не сеяла великая русская литература рознь между народами, никогда не играла на темных инстинктах читателя, никогда не унижала представителей других национальностей.

Подлинный патриотизм не имеет ничего общего с шовинистической спесью, кичливостью, похлопыванием по плечу представителей «меньших народов», тем более с выискиванием в национальном характере других народов черт изначально порочных, дурных. Подобные тенденции, в последнее время проявившиеся не только в романе В. Белова, не могут не тревожить. Если стыдиться обсуждать эти вопросы на страницах литературной печати, если делать вид, что тенденций таких нет или они случайны, нехарактерны для нынешнего момента, — то это нас далеко заведет.

Думается, такой разговор еще впереди. Мы же вернемся к нашему предмету...

Вообще-то все беды героев беловского романа начались с «Белой лошади». С той самой бутылки виски, на которую в Париже поспорили Бриш и его дружок Аркадий: удастся Аркадию совратить Любу или нет.

«Белая лошадь», которую так старательно высматривал в бришевском чемодане Иванов, когда они прибыли в СССР, все-таки вернулась, но в ином — переносном — смысле. «Не лошадь, а конь троянский», — роняет Иванов. Именно Париж стал той точкой, с которой началось падение всех героев романа. Медведев уверен, что Люба переродилась после того, как посмотрела порнофильмы (кстати, неизвестно, смотрела ли Люба эти фильмы, — ее «вина» и в этом случае не доказана). «Не может быть, что Люба смотрела эту дрянь и не сказала ему... Не может этого быть», — поначалу утешает себя Медведев, но затем, по мере того как разочарование его в жене растет, приходит к такому выводу: «Неужели она такая же, как большинство... Конечно... Это всегда было именно так, поездка за границу только проявила ее всегдашние, коренные свойства...» Медведев начинает терзать жену расспросами. «Я вижу, что ты скрываешь от меня что-то. Разве не так?..» «Все-та-

ки, смотрела ли ты в Париже эту мерзость?» — вновь возник и по-змеиному шевельнулся этот вопрос. Но Медведев придушил этого гаденыша всей силой своей незаурядной воли. Он... не хотел признаться, что дело в этих гнусных фильмах. Сама мысль о том, что дело именно в этом, представлялась ему бесконечно низкой, отвратительной, оскорбляющей его и ее».

Меж тем «гаденыш» не был придушен до конца. И через десять лет, вернувшись из заключения, Медведев задает себе все тот же вопрос: «А почему тогда по сей день волнует тебя ее поездка во Францию? И к теме порнографических фильмов ты тоже неравнодушен... До сих пор...»

Не только Иванов покатился после Парижа по наклонной плоскости. Запил, и, видимо, не в шутку, его сосед по гостиничному номеру — «бриоголовый профессор». Спустя десять лет, во второй части романа, мы видим его уже в числе алкоголиков — пациентов клиники Иванова. Видите, какое простое объяснение: съездил в Париж на десять дней, а вернулся запойником.

Итак, Люба пала нравственно. Наталья превратилась в алкоголичку. Грузь погиб. Медведев попал в тюрьму. Спивается Иванов. Зуев после автомобильной катастрофы превратился в жалкого инвалида, лишенного возможности передвигаться. На глазах у читателя «Белая лошадь», гарцуя по страницам романа, ломала судьбы, корежила души и тела...

«Белая лошадь». «Конь троянский», пробравшийся в самое сердце русского народа. А может, «конь блед» — призрак надвигающегося апокалипсиса? «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Откр., 6, 2). Неспроста упоминает о конце света Иванов, а апокалипсические настроения пронизывают записки Грузья и размышления Медведева...

Зловещая сцена. Вера, дочь Медведева, теперь носящая фамилию Бриш, убегает из дому к своему настоящему отцу. Люба ночью бросается на ее поиски. Бриш взволнован. Чтобы обрести душевное равновесие, «прошел на кухню. Открыл дверцу холодильника, достал бутылку и с минуту разглядывал роскошную этикетку. Изящный силуэт белой, как снег, лошади с чуть приподнятым белым хвостом заставил его иронически хмыкнуть». Сразу же вспомнился Аркадий (не удиви-

тельно, ведь это с ним заключал в Париже пари на «Белую лошадь» Бриш). «Где-то сейчас Аркашка?» — грустно задумывается Бриш и делает по телефону международный заказ. По всей видимости, Аркадий уже перебрался туда, куда решил податься, прихватив с собой Любу и медведевских детей, Бриш. «Кругом дураки и хамье, — думает он. — Я не могу так больше».

Ночь, белая лошадь в освещенных внутренностях холодильника, загадочный звонок за границу... Фигура Бриша окружена некоей тайной...

Бриш поражает своими деловыми качествами. Он без труда устраивает в заграничную туристическую группу свою одноклассницу Любу. Когда ему надо убрать из круга общения своей жены спивающуюся Наталью, он, ни минуты не задумываясь, отправляется к Иванову и просит направить ее на принудительное лечение. Принудительное! Когда же возникает на горизонте Медведев, а вместе с ним угроза потерять детей, Бриш делает несколько нужных визитов, в результате Медведеву предлагают неплохую работу в другом городе и одновременно ставят на учет как пьяницу, наркомана и религиозного фанатика.

Характерно, однако, что органы попечительства, загс, районо, суд и прочие авторитетные организации оказываются на стороне Бриша. «Дорогой мой! — говорит Бришу Иванов, рассказывая о судьбе попавшего в тюрьму Медведева. — Если бы это случилось с тобой, тебя бросилась бы спасать целая армия защитников. Пол-Москвы бы встало стеной! И ты бы отделался всего лишь легким испугом». Иванов знает: у наместника дьявола на земле Бриша хорошо отлаженные каналы информации и взаимопомощи («пол-Москвы» ринется на защиту, никак не меньше). Дьявол многолик, везде-сущ и, самое страшное, неуязвим.

Что касается Москвы, то это уже не вполне русский город, считает В. Белов. «...Как много своих верных сынов оставляла Москва в забвении, торопясь увековечить память тех, кто рожден был в других столицах, вскормлен в иных землях». Образ зловещего мегаполиса устрашает. «Вышедший из человеческого подчинения, гигантский город расширялся по зеленой земле, углублялся в ее недра и тянулся ввысь, не признавая ничьих резонов. Незаметно для москвичей понемногу исчезали в столице бани, бублики; фанты и пепси-кола (дались же они Белову! — А. М.) усердно соревновались с ины-

ми напитками, окна первых этажей украшались ажурными решетками, а в метро уже появились станции, не успевающие проветриваться за ночь!» «Нагромождения жилых массивов разбегались во все стороны, с косным самодовольством вновь и вновь возникали они перед человеческим (?— А. М.) взглядом. Беспредельность и необратимость, с которыми эти крохотные четырехугольники человеческих (?— А. М.) жилищ занимали новые и новые пространства живой, зеленой, пульсирующей земли, Медведев не хотел замечать. Он, как и все москвичи, делал вид, что не замечает всего этого... Иногда, очнувшись, он приходил в ужас от непостижимого, необъяснимого скопления рукотворных объемных масс. И восемь миллионов человеческих (опять! — А. М.) тел, сплотившихся так тесно и в одно место, представлялись тогда одним сгустком человеческой (ну сколько можно! — А. М.) плоти, непрестанно и неустанно поглощающим пищу, содрогающимся в конвульсиях, испражняющимся и кровоточащим сгустком! Кошмар, кошмар...»

И впрямь кошмар. Неужели москвичи — главные герои романа В. Белова — представляют себе Москву именно такой? Неужели и в самом деле любят свою землю, малую родину свою лишь жители села — те, кто до сих пор были основными героями прозы Белова?

Какими же предстают со страниц романа В. Белова сами московские интеллигенты? Картину они являют безотрадную. Мужчины — тупые, ограниченные обыватели, алкоголики и ханжи; женщины — неверные жены, прокуренные, испитые, изможденные склоками и абортами. Это изломанные, ущербные, на грани вырождения человеческие фигуры. Как говаривал Мишка, персонаж беловского «Привычного дела»: «Видал я такую интеллигенцию!» Можно простить Зуеву, герою нового романа Белова, когда он с той же Мишкиной интонацией восклицает: «Терпеть не могу интеллектуалов», — но не отражена ли в этом восклицании и авторская позиция? Неужто и впрямь роман задумывался как пасквиль на столичную интеллигенцию (приходилось уже слышать и даже читать такое мнение)? Неужто и впрямь для того только и обратился Василий Белов к современной столичной действительности, чтобы возвестить о конце света, вырождении нации, грядущем пришествии дьявола?!

«По мысли В. Белова, — отмечала Наталья Иванова, — зло концентрируется отдельно от народа, воплощением которого является деревня» («Знамя», 1987, № 1). Безнравственны городские женщины, прибегающие к аборт? А бабка Евстоля, теща Африканыча, всерьез желавшая, чтобы кто-нибудь из ее многочисленных внуков помер и ей стало бы легче с ними управляться? Чем она нравственнее этих несчастных городских женщин? Проблем, в том числе и нравственных, пруд пруди и в городе и в деревне. И там и там они требуют к себе пристального, заинтересованного внимания, а не только брюзжания и недовольства.

Роман В. Белова не убеждает и потому, что не убеждают его персонажи — не люди, а голые, безжизненные схемы, и потому, что автору изменила художественная интуиция. Не могла не изменить. Проявление этого находим и в большом, и в малом. В романе, как ни в каком другом произведении Белова, много неувязок, неточностей, погрешностей против логики и здравого смысла. Приведу лишь несколько примеров, оговорившись, что каждый из них в отдельности не считаю большим криминалом (лермонтовская «львица с гривой» научила нас кое-чему); взятые же в совокупности, они выдают не только неряшливость Белова-художника, но и его равнодушие к действительности, которую он взялся изображать, и не просто изображать — судить.

Совершенно непонятно, почему друзья (Иванов и Медведев), встретившись после десятилетней разлуки (и какими были эти годы по крайней мере для одного из них!), не нашли лучшей темы для разговора, чем обсуждение достоинств и недостатков НТР. Я понимаю, что именно этот вопрос беспокоит автора, но герои в данной ситуации просто не должны были, не могли устраивать ученую дискуссию на сей предмет. Трудно поверить и в то, что Люба не узнала в небольшой туристической группе Иванова, доброго приятеля ее мужа, который даже на свадьбе у них был; она его не узнает, а тем не менее, приехав в Москву, зовет в гости на день своего рождения... Как автомобилист никогда не поверю я в то, что инспектор ГАИ, остановивший машину, в которой сидел за рулем накачавшийся коньяком Зуев, вернул ему права и отпустил подобру-поздорову, лишь слегка пожурив: «Зачем же вы сажались за руль на ВДНХ, если пьяны», — не бывает таких милиционеров... Родная сестра не может поинтересоваться

у Иванова: «Поедешь с нами? Или у тебя своя машина?» — у них отношения достаточно близкие, чтобы ей знать, есть у него машина или нет... Люба высаживается в аэропорту Орли: она потрясена, увидев людей, «говорящих на всех языках, с лицами то бледными, то бронзовыми, то черными до синевы, то до неприличия белыми, то желтовато-смуглыми...» Автор забывает, что Люба приехала из Москвы (она коренная москвичка), а не, допустим, из Вологды: что она, негров не видела? Чему удивляться? Так нет, Любу в Париже поражают и красивые обои в гостиничном номере, и валикообразная подушка, и баночка с джемом, которую приносит на завтрак горничная. «Люба совсем растерялась. Не ошиблась ли горничная? Не приняла ли ее за какую-нибудь важную даму?» Трудно поверить в естественность подобной реакции... Один герой романа объясняет другому, как связаться с Медведевым, проживающим после возвращения из заключения в подмосковном совхозе: «Но это через коммутатор. Он там редко бывает. Надо договариваться, приглашать заранее». И в самом деле, даже Бришу (уж ему-то по плечу самое трудное задание) так и не удается связаться с Медведевым: дальше конторы совхоза он не дозванивается. Почему же Вера, выбежав из дома вечером, а то и ночью, каким-то образом тут же соединяется с Медведевым, едет к нему и ночует у него; что-то подозрительно быстро девочке удалось все это провернуть...

Особенно много в романе В. Белова неувязок, касающихся транспорта. Иванов преследует Медведева и его спутников, едущих на метро от «Комсомольской». «Он уже хотел было объявиться, догнать их на «Кировской», но его опять что-то остановило... Иванов перешел на «Лермонтовскую», но вместо того, чтобы ехать домой, поднялся наверх...» С «Кировской» можно перейти лишь на «Тургеневскую», и никуда больше, «Лермонтовская» же (ныне «Красные ворота») ни с какими станциями не соединяется... Или вот теща Медведева разговаривает с зятем, находящимся в Ленинграде, по телефону; еще не закончив разговора, кричит дочери на кухню: «Люба, он приезжает сегодня «Красной стрелой». Но каждый знает, что «Красной стрелой» можно приехать только *завтра*, никак не сегодня; отправляясь в полночь, поезд этот прибывает в пункт назначения ранним утром. Дальнейший ход событий показывает, что Медведева-таки едут встречать под вечер... Еще

одно странное место: Люба вспоминает, как она улетала в Париж. «Десять дней назад, ранним и свежим весенним утром, муж на такси привез ее сюда, в Шереметьево...» На следующей странице рассказывается о том, как она прилетела в Париж: «Обширная золотистая россыпь огней, словно звездное небо, то поднималась наклонно, то кренилось в другую сторону. Ясно видны были пунктирные линии скоростных трасс, различались очертания больших площадей». В Париже был уже глубокий вечер. Между тем известно, что, поскольку полет в Париж продолжается три часа сорок пять минут, а происходит он по ходу движения солнца, самолет должен прилететь на место почти в то же время, что было в Москве, то есть не ночью и не вечером — а утром же! (разница во времени между Москвой и Парижем — три часа)... Наконец, из парижских реалий: «Он знал лишь этаж, этаж был третий, не считая самого нижнего. Но вот же он, третий! Вернее, второй по здешним правилам». Тут полная путаница: «местные правила», а именно правила, принятые везде в Европе, как раз в том и заключаются, чтобы «не считать самого нижнего» этажа. То есть если этаж «третий, не считая самого нижнего», то по-нашему он просто-напросто четвертый...

Или вот два фрагмента с одной страницы. «Джинсы облегли Наталью Зуеву слишком плотно, зато обширная белая блуза была просторна. Люба сразу заметила и новые босоножки... Босоножки появились явно *вчера или позавчера*, ведь она заезжала после Любиного приезда из Франции совсем в других». Отсюда следует, что Люба вернулась из поездки буквально днями. Меж тем тут же читаем: «...Иванов, который *минувшей весной* вместе с Любой путешествовал по Франции...» Когда все-таки Люба «путешествовала по Франции» — днями или «минувшей весной»?

Предвижу упрек возможного оппонента: допустимо ли с художником такого масштаба, как Василий Белов, вести спор на уровне — можно ли перейти с «Лермонтовской» на «Кировскую»? Но, во-первых, мои претензии к роману не сводятся к этому, я говорю *не только* об этом; а во-вторых, именно для художника такого масштаба обилие мелких несуразностей — непростительно. Уверен: не увлекись Белов в такой степени дидактикой, насаждением своего мнения по тысяче значительных и незначительных «жгучих вопросов», он нашел бы

и силы, и время для того, чтобы выверить фактическую сторону своего повествования.

Конечно, мелочи есть мелочи. Гораздо существеннее другое. «Значение всякого словесного произведения, — писал Л. Толстой Л. Андрееву, — только в том, что оно не в прямом смысле поучительно как проповедь, но что оно открывает людям нечто новое, неизвестное...» Вот именно нового, неизвестного не найдет читатель в романе «Все впереди». Имеется в виду, конечно, не новое в смысле информации, так сказать, фактуры, а — новый, свежий взгляд на вещи, новый подход к явлениям действительности, новые мысли о вечном и непреходящем.

Не велика заслуга указать на те или иные болевые точки нашей действительности. Гораздо раньше прозы на них указала — и указывает! — публицистика. Открытые газетные обсуждения, статьи-разоблачения, на кои так богата ныне наша периодика, непривычно откровенные телевизионные передачи, вся та атмосфера гласности, что установилась в нашем обществе после последнего съезда партии, сделали свое дело: запретных тем почти не осталось, вне зоны критики не оказалась ни одна сторона нашей общественной жизни.

От настоящей, подлинной литературы мы сейчас ждем другого: не только каталога недостатков окружающей нас действительности, не только праведного гнева по их поводу, а — исследования причин этих конфликтов, этих болей. То есть ждем, говоря словами Ч. Айтматова, «глубокой вспашки». В. Белов же в данном случае прошелся по поверхности, не затронув подлинных корней социального зла, которое взялся обличать. Лихой кавалерийский наскок на незнакомую и обширную территорию не мог закончиться удачей. Он ею и не закончился.

Но дело даже не только и не столько в том, что В. Белов взялся за «не свою» тему. И не правы критики (например, Н. Иванова и В. Лакшин), которые полагают, что Белов впервые обратился к городской проблематике. Это не так: на его счету и в прошлом были городские повести, и, кстати, неплохие. Автор проявил в них все то, что столь щедро демонстрировал в своей деревенской прозе: и богатый язык, и приметливый глаз, и знание человеческой психологии. То, что произошло с ним сейчас, нельзя объяснить только незнанием материала.

Критика (вспоминаются выступления Вас. Новикова, М. Синельникова) все время толкала В. Белова почему-то к большей социальности в исследовании проблем действительности. «Спору нет, — писал, например, М. Синельников («Знамя», 1971, № 7), — книгам В. Белова принадлежит свое и достаточно заметное место в деревенской прозе последних лет. Нельзя не ценить сказавшихся в них наблюдательности, уверенного владения всей гаммой психологических красок — от юмористических до трагедийных, языкового мастерства... Однако для дальнейшего движения писателя очень важен, думается, серьезный поворот к сложным жизненным узлам, в полной мере способным передать тенденции действительности».

Критика толкала писателя туда, куда его толкать не следовало: в сторону прямой социальности, к исследованию «тенденций действительности». В. Белов, похоже, внял советам. Однако острая социальность, которая по идее должна была заполнить пространство романа «Все впереди», обернулась тенденциозностью наихудшего свойства. Прекрасный живописец, рисовальщик, знаток природы, знаток быта и душевного склада русского крестьянства принужден был заняться социологией, демографией, философией — дисциплинами ему абсолютно чуждыми.

Была у него, возможно, и своя, сугубо внутренняя, причина, толкнувшая к проблематике этого нового романа.

Свою деревенскую прозу Василий Белов строил главным образом на конфликте между идиллически изображаемой уходящей деревней и пугающими его переменами, надвигающимися на село. Симпатии явно были на стороне патриархальной деревни, и даже когда *уходящая* деревня превратилась в *ушедшую* и взгляд явно стал архаичным (этот момент хорошо схватил и сформулировал И. Шайтанов в «Вопросах литературы», 1981, № 5), Белов с удивительным упорством продолжал держаться старой точки отсчета.

Конфликты, оказавшиеся некогда в поле зрения писателя, давно остались в прошлом, перемены совершились. Ни косарей, дружно, с песнями выходящих на луга, ни непосредственной заботы конкретного крестьянина о конкретном урожае, ни даже необходимости этому крестьянину задумываться, что сеять, когда сеять, когда поливать, поливать ли вообще и так далее, — всего

этого в современной деревне уже нет. А есть трактора, бригады, зарплата два раза в месяц, жесткое разделение труда по принципу «управление — исполнение». В деревне возникла и утвердилась новая, сходная с промышленной, система производственных и общественных отношений. Можно до хрипоты спорить о том, хорошо ли, что колхозницы часами выжидают у сельмагов, «когда привезут молоко», вместо того чтобы содержать собственную корову, — но нельзя не признать, что это стало повсеместным фактом. И доходы у колхозников ныне повыше, нежели некогда (и уж точно повыше, чем у среднего городского интеллигента), и по телевизору они смотрят то же самое, что городские жители, и в курсе мировых новостей оказались, и дискотеки посещают, и паспорта у них даже есть (на их отсутствии, как известно, строились драматические коллизии многих произведений В. Белова), и в своем выборе уехать или остаться они вольны — никто их за ворот обратно не тащит... Повторяю, не все происходящее в нынешней деревне можно одобрить, поощрить, приветствовать. Многое из того, что пришло на село в последнее время, имеет уродливые, противоестественные формы. Но с фактами нельзя не считаться. Они вещь упрямая.

В. Белову до боли жаль ушедшую деревню. Он готов вспоминать и вспоминать ее. Но нельзя все время жить воспоминаниями, сожалениями об ушедшем. У нынешней деревни свои проблемы. Облечь бы писательскую тревогу и боль в конкретную художественную плоть...

Но В. Белову не только больно видеть *такую*, переродившуюся деревню. Ему больно и писать о ней. «Он просто не смотрит туда, куда ему не хочется смотреть», — заметил И. Золотусский («Знамя», 1987, № 1).

И вот, чувствуя необходимость обновить свой тематический и проблемный багаж, В. Белов повернулся в сторону проблем города, городского жителя. В этом не было бы ничего дурного, — для художника не может быть запретных территорий, — если бы в основу своего произведения писатель изначально не положил порочную идею. Разделение всего вокруг на «наше» и «не наше», на «наших» и «не наших» есть не просто *упрощенное* понимание действительности, а в *корне неправильное* понимание действительности. К тому же Белов решил поставить в романе вопросы, ответы на которые у него уже были готовы. Он не ставил перед собой зада-

чу *исследовать* ту или иную проблему, он вышел к читателю, чтобы изречь уже готовые нравственные приговоры. Полагая, что обладает истиной в последней инстанции, писатель оказался ниже истины, не сумел подняться на достаточную художническую высоту, чтобы иметь право на приговор. Как совершенно справедливо заметил В. Лакшин, автор романа «уже в замысле вступил... на ложную тропу».

«Я понимаю,— писал в 1969 году А. Ланщиков,— что В. Белов... равно как и другие писатели вовсе не обречены на сплошные творческие победы, тут важно лишь одно, чтобы они оставались верными идейно-художественным принципам, которые помогли им обрести литературную самостоятельность». И далее: «...я не могу отделаться от опасений, что... всякое критическое замечание в адрес В. Белова отныне станет расцениваться как покушение на его писательский авторитет. Но безудержная апологетика, как и упорное замалчивание, одинаково опасны для писателя, ибо ставят его вне критики, так или иначе отторгают от литературного процесса и свидетельствуют в конце концов о равнодушии к его творческой судьбе» («Москва», 1969, № 3).

Я не равнодушен к судьбе В. Белова. Это писатель из первого ряда нашей литературы, много сделавший и для нее, и для всех нас. Больно наблюдать его неудачи и заблуждения. Но кто застрахован от неудач и заблуждений? И я не верю, что у него, перефразируя его же выражение, «все позади».

Трудно, невозможно указывать художнику путь, по которому ему надлежит развиваться. Можно и необходимо говорить ему о пути ошибочном, ложном.